



Реки
Е.Гришковец

Опубликована: 2006
Категории:
Виньетки: grishkovets

Евгений Гришковец

«Реки»

Необходимо сказать несколько слов об авторе. Автор не сообщил своего имени, фамилии, и не указал, откуда именно он родом, и где живет теперь. Не известно, чем он занимается, кто он по своему образованию, и какова его профессия. О том, сколько ему лет, тоже можно только догадываться. Известно только, что автор был намерен написать весьма объемное произведение, а представил совсем небольшую повесть. Он попросил сообщить, что сам удивился тому, что объем произведения оказался таким небольшим. В связи с этим он сказал: «Так, наверное, даже и лучше». Никак не могу прокомментировать эти слова.

Повесть

Я только однажды видел медведя не в зоопарке. Только один раз в жизни. Хотя я родился и первые свои тридцать с небольшим лет прожил в Сибири. В Сибири, где когда-то родился и умер мой прадед, где родился и умер мой дед, где родился мой отец. А я уехал из Сибири. Уехал далеко и, наверное, без сожаления.

Я родился и вырос в городе, который не могу ощущать ни как большой, ни как маленький. Я не могу понять его размеров. Когда-то он казался мне непостижимо большим, а когда я бежал из него, он был удушливо тесен. А теперь, когда я приезжаю, ре.. е.. дко — редко, приезжаю в мой родной город, я уже не понимаю, какой он. Он большой или маленький для тех, кто живет в нем. А я-то уехал. Уехал, и теперь уже не пойму. Никогда.

Не пойму потому, что не знаю какого-то понятийного механизма, а самое главное не знаю, что, собственно, мне нужно понять. Что?!

Отчего, когда я где-то далеко-далеко от города, где я родился и вырос, и даже далеко от Родины, захожу в какую-нибудь, я не знаю... Представляете, жара, самый конец июля. Юг. И даже не наш юг, а вообще Юг. В сухой траве стрекочут кузнечики, и все

звенит от неподвижной жары. В небе ни облачка, горизонт совсем белый и знойный, а вы при этом осматриваете какую-то достопримечательность, какую-то важную для всех руину. Гид подробно описывает историческую значимость того места, где вы находитесь, а кто-то из группы таких же, как вы, любознательных людей, одетых в светлые шорты, задает какие-то уточняющие вопросы, чтобы показать свою осведомленность. У вас уже белеет в глазах, но вдруг гид увлекает вас и всех остальных дальше, и вы входите в какой-то грот или гробницу, и на вас падает темная прохлада, кажущаяся даже какой-то влажной, но влажной не в плохом, а в спасительно-нежном смысле...

Почему в этот момент вспоминается то, как я, запыхавшийся и разгоряченный игрой, забегал с летнего, знойного и пыльного двора в подъезд моего дома. Моего дома... там, в том городе, откуда я уехал. И мне уже не важно, что говорит гид, и не важно, что я где-то в таком месте, про которое читали все еще в школьных учебниках истории. Прохлада и все...

Прохлада такая же, как в старой, еще сталинской постройки библиотеке или кассовом зале кинотеатра, куда я забегал с друзьями, выскочив из раскаленного автобуса. Мы бежали через жаркую площадь перед кинотеатром и врывались в прохладный кассовый зал...

Почему вспоминается кинотеатр? Типовой кинотеатр, которых так много, которые есть в каждом областном или даже в районном центре. Я даже не понимаю, красивый этот кинотеатр или нет, то есть, для меня непостижимы архитектурные достоинства этого кинотеатра. Но радость, которую доставлял мне когда-то сам вид этого здания... Мне нравилось даже просто проезжать мимо него на автобусе, рассматривать афиши, слушать, как водитель объявляет остановку: «Следующая остановка — кинотеатр (такой-то)».

Мой город не старый город. Он и не может быть старым. Он же сибирский город. К тому же мой город моложе других сибирских городов. Но странно, он всегда был наполнен для меня достаточной, а на самом деле гораздо более чем достаточной, исторической глубиной. В нем была история. История, не состоящая из фактов и следов, оставленных этими фактами, а живая, по-настоящему интересная мне лично, история.

Мой дед рассказывал мне... До сих пор не пойму и не пойму никогда, зачем он это делал... Зачем он рассказывал мне одиннадцати, двенадцати, ну максимум тринадцатилетнему человеку... Вообще что-то рассказывал. Когда я сморю на двенадцати,

тринадцатилетних людей у меня не возникает желания рассказать что-то подобное тому, что мне рассказывал мой дед. А он рассказывал...

Мой дед родился в нашем городе. Он всегда был городским человеком. И это не важно, каким был город тогда, когда родился мой дед. Большим был или маленьким, этот город, для моего деда, я не знаю. Но он в нем родился и умер. Он был образованным человеком, он закончил университет. Мой дед воевал, и вообще, он не сидел всю жизнь на одном месте. Но он родился и умер в нашем городе. И, кажется, он был доволен. Хотя, что я могу про это знать? Я просто помню, что мой дед никогда мне ничего плохого про город не говорил. Он говорил, что когда ему было столько же лет, сколько мне, то есть двенадцать-тринадцать, у него было две пары ботинок. Хорошие ботинки и плохие. Но все лето, с мая по середину сентября, то есть до самых холодов, он бегал босиком. Дед любил подчеркнуть, что при этом никогда не болел, а любую царапину замазывал глиной и бежал дальше. Он рассказывал, что там, где сейчас новый вокзал, была роща, и там они (мой дед и все остальные) находили все, что им было нужно. Ели пучку, копали сурепку, собирали ягоду, зорили птичьи гнезда и пекли потом яйца на костре. И еще дед говорил, что по берегам нашей реки росла масса дикого чеснока...

В любом городе, который стоит на реке, есть правый и левый берег. Я родился и вырос... не на том берегу, на котором родился и вырос мой дед. Старая часть города была всегда от меня отделена рекой, туда, где все происходило с моим дедом когда-то... давно, туда вел мост. Мост высокий и длинный, мост над темной, широкой и быстрой рекой. В моем городе темная и быстрая река. Большая сибирская река.

Когда мы с дедом были в рыболовном магазине, он, которого я никогда не видел с удочкой, и даже не мог себе представить деда в какой-нибудь рыбацкой ситуации, рассматривая лески и прочие снасти со вздохом говорил, что если бы у него тогда были такие же, он бы точно мог бы прокормить рыбой всю семью, и не только.

Он рассказывал мне тогда, а я запомнил, что они мальчишками бегали на рынок, и дергали у коней из хвостов конский волос для удочек. Он говорил, что если кто-то приводил белую лошадь, то хозяину такой редкой лошади нужно было от нее не отходить, а то животное могло вернуться в деревню вовсе без хвоста. Белый

конский волос очень ценился. Белый волос вязали в самом конце с-насти, к нему, собственно, и привязывали крючок. Дед даже показывал, как они делали леску из конского волоса. Он объяснял, что не просто привязывали один волос за другим, а как-то еще крутили эти узлы, а потом катали эту леску ладонью по ноге. Дед при этом делал движения похожие на те, что делают на Кубе, показывая туристам, как скручивали сигары в незапамятные времена кубинские женщины.

Дед говорил, что хозяева лошадей больно и метко хлестали мальчишек кнутами, если успевали. Это происходило когда-то в моем городе. Но в этом же городе когда-то стояли желтые бочки на колесах с надписью «Молоко», и я маленький бегал с битоном купить молока (в нашем городе все говорили «битон» вместо «бидон»). Где-то теперь эти бочки...

А много рыбы в нашей реке при мне уже не было. И рыбалка была еще та. Но дед говорил, что если бы у него была леска! Потому что конский волос крупную рыбу не выдерживал и легко рвался. Тогда рыба уходила вместе с крючком. А крючки были очень ценны. Их можно было купить только в «Торгсине».

А «Торгсин» был такой магазин, где можно было купить что угодно. В нем было все, что надо! В те скудные и трудные времена в нем можно было купить даже теннисный мячик... Дед говорил о теннисном мяче с каким-то особенным чувством. Видимо, ему сильно хотелось иметь маленький, упругий и очень приятный на ощупь мяч, хотя я не припомню, чтобы он говорил о теннисных ракетках, и о том, что он играл или хотя бы видел, как играют в теннис. Какой к черту теннис в моем городе в те времена, да и сейчас тоже.... Но купить что-либо в «Торгсине» можно было только на серебро или золото. В «Торгсин» несли золотые или серебряные монеты еще царской чеканки. Дед говорил, что на серебряный рубль можно было купить..... ну массу необходимых вещей. Пацаны где-то раздобывали эти монеты и покупали блестящие рыболовные крючки, немецкую свинцовую охотничью дробь и картечь для грузил, итальянские медные иглы для патефона в красивых коробочках. Патефонов ни у кого из дедовых друзей не было, но иглы покупали потому, что они стоили копейки, а вещь красивая. Покупали американские стальные перья, чтобы писать. Иногда брали на небольшую компанию дорогие папиросы. Дед говорил, что самыми лучшими были папиросы «Сафо» и «Пушка». На пачке «Пушки» была изображена пушка, а как выглядела пачка

«Сафо» я не знаю, и правильно ли я расслышал и запомнил название этих папирос, сейчас уже выяснить невозможно. Может быть, название их было «Сапфо». Но мне с трудом верится, чтобы в моем родном городе были отголоски еще и античной истории.

Но главное-то что? Главное, что в моем городе когда-то во-первых, можно было купить что угодно, а во-вторых, можно было заплатить золотом-серебром... как платили пираты... Вот факт, который связывал меня с историей. Мой дед делал это, и, значит, это была не отдельная от меня, не чужая история. У меня до сих пор где-то лежит серебряный царский рубль. Откуда он взялся, я не помню, но в детстве я любил рассматривать его. И по сей день я хотел бы оказаться с этой монетой в том самом дедовом «Торгсине» на другом берегу реки.

Я не знаю никакой сибирской экзотики, я не пережил её. Книги «Угрюм река» или «Последний из Удеге» для меня так же полны тайны и так же далеки от меня, как «Кавказский пленник» или «Фрегат Паллада». Я вырос в городе. Я не знаю тайги, мне она неизвестна. Я пролетал над тайгой на самолете, когда летел в Москву. Или из Москвы домой. Я ничего не видел, я просто знал, что там, подо мной, тайга. А что это — Тайга?! Я только однажды, совсем неглубоко, и совсем ненадолго вошел в таежный массив, был искусан комарами, что-то унюхал, что-то увидел, ничего не понял, и... вернулся в город. А что я мог там понять? И что я там должен был понять? Это все равно, что попытаться полюбить море, зайдя в него по щиколотку, да к тому же, когда вода холодная. Но море все-таки полюбить легче, чем тайгу... А тайга?...

Когда я побывал в тайге, погода была... скорее плохая. Конец августа, прохладный или, даже, сырой день, был серым и ветреным, но не беспросветным. Иногда солнышко задевало нас, но не мощно, не всем диском, скорее краешком, подмигивало из-за толстых объемных облаков. Дождя не было, дождь шел ночью и весь предыдущий день. Мы вошли в тайгу утром и оглушили сами себя хрустом и шелестом травы, кустарника и папоротника, сквозь который стали продираться. Тайга приглушила утренний свет, и загудели комары...

Отец договорился с какими-то своими знакомыми, и меня взяли на охоту. Мне было года двадцать три, двадцать четыре, точно не помню. Отчего-то мне хватило ума не изображать, что я опытный

и умелый. Нет, я не скрывал, что ничего не смыслю в лесных делах. Мужики были мне рады. Их было трое. Все вдвое старше меня. Один был местный охотовед Серега, а остальные, не помню их имён, тоже местные, но давно уже живущие в городе. Кто-то из них как раз и был знакомым отца. Все были мне рады, потому что мне можно было рассказывать таежные байки, можно было меня удивлять, разыгрывать, пугать, и еще можно было обо мне заботиться, то есть, тридцать три удовольствия. Мужики запрещали мне называть их на Вы, но я чувствовал, что им приятно, что я их так называю, и еще им было приятно мне запрещать обращаться к ним на Вы. Так что я продолжал это делать.

Сейчас я думаю, что та охота не была настоящей охотой. Просто три мужика захотели повстречаться, потому что давно не виделись, поговорить, выпить, побродить по тайге, пострелять из ружей.

Мы приехали из города в деревню на машине. Приехали в деревню совсем поздно вечером, переночевали в доме оховеда Сергея. Я спал плохо. Я не люблю деревню и деревенские условия. В доме сильно пахло, не знаю, как сказать, деревенским домом, в котором живут и совсем старые и совсем юные люди вместе, и еще много кошек. В таком доме постоянно готовят еду, и пахнет этой и еще вчерашней едой.

Я не понимаю и не знаю, как жить в деревне. Мне кажется жизнь в деревне невыносимо трудной, а главное, неоправданно трудной. Те закаты и восходы, тот туман, белый-белый, который лежит на реке, обещаая знойный день, жужжание моторной лодки из этого тумана, удочка в руке, а за спиной мычит, позвякивает чем-то, кукарекает деревня... Все это радость только для заехавшего на выходные горожанина, который любит запах деревенского дома, парное молоко, ковыряние на грядках, разговоры о скотине, и саму эту скотину, а также кур и прочую живую мелочь. Любит тесную баньку и умывание из рукомойника, и т. д. и т. д. Я всего этого не люблю, и никогда не любил.

Когда мы ехали из города я, сидя на заднем сидении старого отечественного внедорожника, вдоволь наклацался зубами и натрясся по кочкам. А еще я наслушался таежных разговоров про то, как в прошлом году было уж очень много барсуков, и пришлось нескольких подстрелить, барсучьего жира зато им хватило на всю зиму.

— А для чего нужен барсучий жир? — поинтересовался я.

— Ты что, не сибиряк, что ли? — спросил тот, что был за рулем.

— Да нет! Просто молодой еще, — ответил за меня другой, — прихватит, узнает, зачем барсуку жир.

Они оба посмеялись и продолжили разговоры про медведей, косуль, таежные, дальние озера с сомами и другими неведомыми большими рыбами. Слух и сердце мне приятно обжигали слова: «заимка», «пасека», «зимовье», «старый прииск».

— Если силы будут, дойдем завтра до прииска — сказал водитель.

— Какого прииска?! Золотого что ли? — совершенно изумился я.

— А какого еще? Конечно золотого.

— И сейчас добывают?

— Не-е. При Екатерине добывали золото. Портом какое-то время кто-то сам пытался ковыряться, а теперь там тишина.

— Интересно! — выдохнул я.

— Да-а-а, ничё интересного. Так, жутковато маленько и все...

Мы приехали в деревню, поужинали, выпили немного самогонки, от которой все волосы на моем теле встали дыбом, мужики, правда, её хвалили, легли спать (я почти не спал из-за запахов, храпа, и вообще...), а утром взяли ружья, еду, сели вчетвером в машину, выехали за деревню, проехали мимо каких-то свинарников, ржавого трактора, пересекли поле, и остановились у леса. Это и была тайга.

Меня сильно удивило то, что комары все-таки боялись той белой жидкой мази, которой мы намазались прежде чем шагнуть в лес. Они кружились и звенели перед лицом, садились на одежду, но не кусали.

Мы шли и шли, долго, быстро и молча. Мне никто ничего не объяснял. Я довольно скоро приноровился к ходьбе по этому лесу, реже утыкался лицом в паутину, и даже перестал наступать на особо звонкие сучья. Глаза устали от мелькания веток, от просветов и затемнений. Я просто шел. Когда впереди прозвучал выстрел, я даже не испугался. И выстрел был не громкий, и стреляли не очень близко. Мы побежали вперед. Оказалось, Сергей подстрелил тетерева. Он держал среднего размера птицу в поднятой руке, а та была истерзана вдрызг.

— Вот, ведь...! Картечью жажнул! — смеялся Сергей, — Еще когда заряжал, сам себе повторял: Серега, запомни, картечь в левом, дробь в правом. Ну вот как раз наоборот и жажнул. Но ничё, сжуём. Он подмигнул мне, и мы зашагали дальше.

Ничего больше тогда не произошло. Мы не видели ни одного животного, ни одного таежного озера, никаких брошенных приисков. Лес, бурелом, тропинка, которая то была, то её не было, и всё... При

Сергее мужики не трепались, а сам Сергей в основном молчал. Когда к полудню мы пришли к маленькому бревенчатому домику, я уже понимал, что никаких медведей и барсуков вовсе не бывает. А если и есть в тайге озера, то там водятся известные мне пескари, ерши и в лучшем случае карасики, да и то не кишмя кишат. Возле бревенчатого домика был чистый родник. Мы напились, встав на колени, прямо из земляной воронки, которая наполнилась холодной водой, а на дне её танцевали песчинки и маленький белый камешек. На двери дома не было замка, мы вошли, в доме было темно, он был без окон. В нем стояла сырость, пахло плесенью и погребом. — Серега, а чё ты дверь-то не оставишь открытой? — спросил один из мужиков, — Пусть просохнет. — Ага, — сказал Сергей, зажигая керосиновую лампу, — медведь придет и так тебе тут все просушит! — Он перехватил мой ироничный взгляд — Да-да, медведь! И вот это не поможет. Он показал пальцем на какие-то темные (не знаю, как сказать) мешочки (что ли), размером с куриное яйцо, только совершенно неправильной формы, которые висели над входной дверью. — А что это? — спросил я. — Желчные пузыри, — ответил тот мужик, что водил машину, — медвежьи. — А зачем? — Полезно — сказал другой. — Да так, вешаем, чтобы медведи боялись, — сказал Сергей, — а они не боятся. Вот смотри. И он показал мне на следы огромных когтей. Домик был весь исцарапан, некоторые следы были очень глубокие и находились высоко, я с трудом дотянулся до них рукой. — Они и сейчас за нами смотрят — подмигнул мне Сергей. Мужики затопили маленькую печку, чего-то копошились в домике, готовили еду. Они сварили несчастного тетерева, получился невкусный бульон и невкусная птица вся с перебитыми костями. Мне попала на зуб свинцовая картечина. Было больно, аппетит пропал окончательно. Потом мы выпили водки, потом стреляли по консервным банкам из карабина. Я попал пару раз. Меня хвалили, мне было приятно. Что-то еще делали, потом спали. К утру замерзли, проснулись, дождались рассвета и вернулись в деревню. Это все, что я видел. На обратном пути комары жрали нещадно. Я потерял мазь, мною были недовольны. Но я помню, как перед самым уходом из лесного домика, когда

мужики готовились к обратному пути, я отошел за дом пописать. Я прошел мимо родника, и прошагал метров восемь вдоль ручейка, который истекал из земляной воронки. Он струился, образуя небольшие заводи, а точнее лужи. Я шел, и вдруг в одной из луж я увидел отчетливый след. Я наклонился к воде и разглядел большой след, оставленный крупным животным. Это был след, какой в кино оставляли медведи. От этого следа вверх, колыхаясь, поднималась илистая мутная взвесь. Эта взвесь замутняла чистую воду. А потом я видел, как муть стала опускаться. Писать расхотелось совершенно. На обратном пути мною были недовольны, комары кусали, я помалкивал. Ничего больше я не увидел. Медведя не в зоопарке я повстречал позже... Потом.

Не помню, чтобы дед рассказывал мне что-нибудь про тайгу. Он рассказывал про город. Рассказывал про американцев, которые когда-то приехали в наш город и привезли первый колесный трактор, Дед это помнил, хотя тогда ему было лет семь или восемь. Он рассказывал, что американцы построили котельную и общественную баню. И еще дед сказал, что американцы были смешные, наивные и носили красивые клетчатые рубахи и светлые брюки. Не знаю, может быть, дед их никогда не видел, этих американцев. Именно так выглядели и именно в такие рубашки были одеты американцы в наших старых фильмах.

Но вот центральную, самую лучшую и удобную часть нашего города, точно, построили военнопленные немцы. Об этом знают в городе все.

— Немцы строили, — с благоговением почтением и даже любовью говорила какая-нибудь тётка про свой дом, — живу ненарадуюсь.

-Конечно! Немцы хорошо строили, — не без пафоса говорил какой-нибудь толстый мужик. И по нему было видно, что сам он ничего не построил, а если бы построил, то получилось бы у него точно хуже, чем у немцев. Обязательно хуже! Сколько же они построили, эти немцы. В каждом сибирском городе вам обязательно с удовольствием покажут трех-четырёх этажные дома с необычно большими окнами, и скажут про пленных немцев. Вот так прошли они по Сибири... Немцы были в моем городе! Вот так его коснулась война.

Я не однажды слышал, что мост через нашу реку построили пленные японцы. Но как-то не верится. Во-первых, мост ничем

не примечателен, единственно, довольно большой. А во-вторых... японцы, в моем городе... строят мост?... Это как-то слишком. Не верится.

А вот фонтан построили точно наши. Поэтому, наверное, он так редко работал. Но даже неработающий фонтан доставлял мне много радости. Когда город был для меня бесконечно велик, фонтан сильно впечатлял меня даже без бьющих струй. Наш фонтан украшает театральную площадь. Он просто круглый, гранитный, в виде чаши. Ничего особенного! Но фонтан-то находится в центре города, а я никогда не жил в центре моего города. Так что поездки в центр были связаны всегда с ожиданием наслаждений. Ну, во-первых, такая поездка могла произойти и имела смысл только летом, в хорошую погоду, что само по себе прекрасно и редко...

Поездка в центр — это веселые и нарядные родители, покупка мне...чего-нибудь... Возможно кафе мороженное, если оно конечно открыто, в нем есть места, у меня не болит горло или ряд других постоянных обстоятельств. Еще в центре был горсад с каруселями, сладкой ватой, и возможностью «взять на прокат» маленький, стальной, весь избитый педальный автомобильчик, на котором я катался по аллеям, смеялся от радости и, мне казалось, фантастически технично рулил.(Мне долго было непонятно, как можно было взять на прокат холодильник или телевизор. Если напрокат, значит — кататься. А как кататься?) Еще можно было бегать по набережной, смотреть вниз на реку, мост, трубы заводов, и на другой берег... Но начинался и заканчивался центр всегда фонтаном. Мы выходили из автобуса в центре у фонтана, а потом ждали автобус, чтобы уехать из центра... у фонтана.

Мы долго ехали, ехали, ехали. Я считал остановки. И вот автобус поворачивал, и фонтан становился виден... Но как обычно без струй... Когда в фонтане совсем не было воды, и на сухом дне валялись листья, газета и какая-нибудь сломанная детская игрушка, по дну можно было бегать, с разрешения папы. Бегать и все время бояться, что мощные струи вырвутся из всех стальных кранов... и что тогда? Я бегал и визжал. Когда фонтан забивался, засорялся и в нем стояла мутная вода, возле него можно было стоять и просто вглядываться в мутную воду, пытаюсь разглядеть там жука плавунца. Или можно было накручивать круги вокруг фонтана, пытаюсь поймать водомерку, которую так хотелось хоть раз поймать.

А когда фонтан работал!... Он него невозможно было уйти. Папа помогал мне подставлять ладошку под струю и удерживать руку... Струя приятно резала ладонь, брызги летели на волосы и одежду. Мы смеялись с папой. А еще в струях фонтана иногда застревал кусочек радуги...

Никакой фонтан или водопад уже не обрадует меня сильнее. Никаким струям я не смогу быть столь благодарен. Фонтан в городе был один. Тогда я не знал, что в городах может быть по несколько фонтанов.

Петергоф и фонтаны Петергофа конечно поразили меня. Когда я увидел их, мне было девять лет. У меня даже осталась фотография на фоне фонтана «Самсон, разрывающий льву пасть». Но те фонтаны меня не обрадовали. Их было очень много, необходимо было все их осмотреть, родители тащили меня от одного к другому. Конечно, я быстро устал и стал ныть, кукситься, потом получил пару горячих шлепков, и какое-то время таскался за родителями молча.

Какая же это была мука, ходить с родителями по музеям! Мне не интересны были картины или скульптуры. Что-то любопытное присутствовало в античных сюжетах, но люди, в смысле, античные герои, высеченные из мрамора или изображенные на полотнах, всегда были какие-то вялые. И даже если они были с мечами и в доспехах, все равно, что-то сонное и скучное было в их позах. А обнаженные женщины были какие-то... даже не могу точно сказать... не интересные и все.

А у нас в городе музей был только один: краеведческий. Он был маленький и не обязательный. Перед входом в музей стоят две старинные пушки. С какой стати возле нашего музея поставили пушки, не понятно. Наш город совсем молодой. Те пушки сделали точно лет за сто до того, как появился наш город. Но они стоят перед музеем, периодически заполняются мусором, потом их чистят, и так много лет.

В музее можно увидеть чучела животных, которые водятся в наших краях, то есть, в тайге. Чучела медведя, барсука, лося, волка и т. д. В отдельном зале лежат кости мамонта и каких-то других чуд, которые когда-то водились в наших краях. Там же есть каменные и костяные наконечники копий и стрел. Их сделали те люди, которые когда-то жили по берегам нашей реки. Эти люди охотились

на мамонтов и ловили рыбу в реке. Судя по тому, какие гарпуны есть в нашем музее, рыбы в реке водились большие. Мне же в лучшие дни удавалось поймать два десятка пескарей. Зато когда пескарика выдергиваешь из воды, и он бьется на леске, растопырив все свои плавники, плавники, которые подсвечены утренним чистым солнышком, в этот момент пескарь кажется таким большим и красивым! Какой же он потом маленький и скучный, когда зажарен на сковородке вместе с другой речной мелочью.

В музее на стене висели изображения рыб, которые водятся в местных водоемах. Каких только там нет рыб! И налимы, и таймень, и хариус... Конечно!

Как же ловко древние люди делали свои наконечники. Я пытался сделать такие же. Причем, использовал молоток и зубило. Ничего не получилось, совершенно. Как они это делали? А вот рисовали они не очень. Даже совсем плохо они рисовали.

Если спуститься ниже нашего города по реке километров на пятьдесят, то можно увидеть довольно грозные скалы. Левый берег реки там пасторально холмистый, с березками, а правый скалистый и жуткий, с соснами на вершинах скал. На этих скалах есть древние рисунки. Их там много, ученые подробно их изучили, эти скалы стали теперь заповедником, и десятка два людей, кто безбедно живет, а кто просто кормится за счет древних художников, которые зачем-то давно нарисовали корявых лосей с большими рогами и так же коряво изобразили себя с копьями в руках. А рисунки-то некрасивые, ну хоть убейте меня, некрасивые.

Когда я смотрел на эти рисунки, я пытался представить, как могли эти люди жить здесь. Как они не замерзли. То, что раньше в наших краях был другой климат, было тепло, а потом пришел ледник, и стало так, как есть, меня совершенно не убеждало. А как же наша зима? Зима-то как? Такая зима, как наша не может то быть, то не быть...

Вот, в пятидесяти километрах от нашего города, значит, когда-то рисовали на скалах какие-то люди. Я знаю про это, но я не знаю, как и когда умер мой прадед, где он похоронен. Дед не говорил мне об этом, я не интересовался. Мне было это не интересно. Тогда. А теперь спросить не у кого. Знаю только, что прадед был инженером, умер он, когда моему деду было совсем мало лет. Знаю еще несколько не очень важных и не вполне достоверных подробностей. А когда и где похоронен, и сохранилась ли могила, не знаю. Ужас, правда?!

Зато я участвовал в раскопках древних могильников. Недалеко от нашего города есть и такие. Студенты историки, мои друзья, ездили в археологические экспедиции, много об этом говорили, всю зиму ждали лета, чтобы снова ехать копать. В их рассказах было столько романтики, и я был студентом, мне тоже хотелось приключений, к тому же я уже посмотрел пару фильмов про Индиану Джонса.

Ребята взяли меня с собой в экспедицию, я тогда закончил второй курс... Продержался я три дня и сбежал. Просто выяснилось, что я не очень люблю умываться из озера и тут же мазаться мазью от комаров (это утром), днем копать, с удовольствием обедать, а потом снова копать. Вечером сидеть у костра и спать в палатке, было приятно, но, видимо, археологи все играют на гитарах и поют, к тому же, у них много своих археологических юмористических песен. Я понял, что мне не нравятся поющие у костра археологи. Но больше всего мне не понравились деревенские ребята на плохих мотоциклах, которые приезжали из ближайших деревень на свет костров и звуки песен. Их влекли к себе студентки, приехавшие из города. Мне не нравились эти ребята, их мотоциклы, их действия и их разговоры. А особенно мне не нравились последствия их действий и разговоров. В общем, я сбежал из экспедиции. Сел на автобус и через два часа я был в городе.

Я вышел тогда на автовокзале и подумал: «Боже мой! Два часа, сначала немного по грунтовой дороге, потом по асфальтовой, и я в центре города. Вот город! А можно снова сесть в автобус и через два часа будет археология!»

Но археология действительно наука и настоящее, не шуточное дело. Ребята показывали мне холмы, даже не холмы, а кочки. Ничем не особенные, с коровьими лепешками, травой, кузнечиками в этой траве. Рядом была деревня, в деревне магазин, в магазине кока-кола. А тут могильники. Но ребята показывали мне какую-то травку, которая росла на тех кочках, и объясняли мне, что она растет только на этих курганах (так они называли эти кочки). Травка была, как травка. Но они объяснили, что даже через тысячу лет на могилах будет расти эта травка.

Прежде чем копать молодые и уже вполне зрелые археологи долго и убедительно-научно что-то обсуждали, вычисляли, вбивали в землю колышки и натягивали веревочки... А потом все равно

копали. Просто лопатами. В первый день я копал и копал, копал и копал. Я боялся найти кости или череп. Как-то было неприятно вскрывать чью-то могилу.

— Ребята, а не страшно в могилах-то ковыряться? — спрашивал я, — Чревато же, а?

— Слушай, вот не надо этого! — говорил кто-нибудь и делал при этом такое снисходительно-разоблачающее лицо.

В первый день я ничего не нашел. А на второй день уже ближе к вечеру, я нашел очень хороший бронзовый наконечник охотничьего копья. Он был сломан пополам, но был очень красивый.

В первый день я копал с азартом и внимательно осматривал каждый комок земли, даже когда мы снимали дерн, и ничего кроме червяков найти было просто невозможно. А к концу второго дня я уже очень сомневался в археологии, как таковой. Просто копал. И вдруг из комка сухой коричневатой земли выпал, сломанный пополам, бронзовый наконечник. Я не сломал его лопатой. Я в этом уверен. Мой наконечник не сверкнул на солнце, и его не пришлось очищать от пыли веков специальной щеточкой. Такие щеточки я много раз видел в научно-популярных фильмах про археологов. Так вот, из под моей лопаты выпало две половинки настоящего бронзового наконечника. Как я удивился, как я обрадовался, как я закричал! Я закричал, как вахтенный матрос, увидев долгожданную землю! И что тут началось... Все забегали, засуетились, у меня отобрали мою находку, оттеснили меня долой. Это потом уже мне объяснили, что в могилу мужчинам клали их оружие и прочее. Я это знал и так из школьной программы и научно-популярных фильмов. Наконечник, что я нашел, был охотничий, а не боевой. Это установили по ушку, которое было сделано на креплении наконечника. К этому ушку привязывали кожаный шнур, когда метали копье. Археологи объяснили, что такие предметы очень высоко ценились в том древнем сообществе. Мне напоследок дали подержать мою находку и унесли ее в штабную палатку. Наконечник был очень красивый. И НАСТОЯЩИЙ.

Я тогда был героем дня, вечером у костра за меня выпили, сказали, что я приношу удачу. Потом в мою честь спели археологическую песню. А вскоре приехали деревенские мотоциклисты. Так что, на следующий день я уехал в город.

Но песни и драка с деревенскими не были основной причиной моего бегства. Я почувствовал азарт поиска, но отчетливо понял, что археология — не моя наука. Я со всей ясностью ощутил, что мне жаль,

что у меня забрали мой наконечник, а еще я понял, что если найду что-нибудь еще, то ни за что не отдам. Такие мысли и чувства никак не вязались с археологией.

В двух часах езды от нашего города можно было найти наконечник, а в пятидесяти километрах вниз по реке от моего города были древние наскальные рисунки. Я родился на той земле, мой отец, мой дед и прадед родились там, но я чувствую, что все эти рисунки и могильники от меня так же далеки, как египетские пирамиды, и так же мало для меня значат. Я не ощущаю никакой связи между мной и теми, кто много сотен лет лежал и лежит в моей родной земле. Я ничего не понимаю в связи с этим. Зато в рассказах деда было достаточно исторической глубины и временных пластов. Достаточно, чтобы чувствовать себя не просто так оказавшимся в этом мире. Но это я чувствовал тогда, когда дед говорил, а я слушал.

Я люблю старые дедовы фотографии, которые он привозил когда-то с курортов. Особенно, мне нравится фото, на котором дед идеально причесан, стоит, расправив плечи, как шкаф. На нем широкий двубортный пиджак, широкие брюки. На пиджаке университетский значок «поплавок» и знак участника войны. Дед стоит на мраморной белой лестнице, сбоку пальма, за спиной море... И подпись под всем этим: «Сочи 52». Почти такая же есть с подписью «Гагры 54» и просто «Белокуриха».

Я бывал в Сочи, но так и не увидел такого места, чтобы можно было также сфотографироваться. Белые лестницы есть, пальмы тоже... Но где же гармония и строгость? Где эпоха, в конце концов. Мне не понравилось в Сочи... Просто не понравилось.

Но странно... В каких бы городах я не бывал... Родители брали меня с собой почти всюду, и я много видел городов, тем не менее, я нигде не хотел остаться. Я не хотел жить нигде, кроме своего родного города. Хотя, если быть совсем точным, я и в своем городе жить не хотел. Я просто жил в нем и не сомневался. Я даже не рассматривал возможность, что можно остаться и жить в каком-то другом городе, где может быть теплее, всего больше и удобнее. Нет. Я просто приезжал в другой город, мне он нравился или нет, и я возвращался. А как иначе? Меня удивляли разговоры родителей о том, что хорошо было бы переехать в тот или иной город..

Я не понимал, как это может быть. Жизнь была устроена так, что у меня не было никаких сомнений. Вообще никаких сомнений не было. Мы жили в типовой пятиэтажке, далеко не в центре, но у меня не возникало желания даже переехать жить в центр. Я не представлял, как это возможно. Как можно жить в центре? Не вообще жить, а мне жить в центре.

Летом мы ездили на юг, к морю. Там было очень хорошо. Совсем другие люди жили на юге. Они громко и по-другому говорили, совершенно по-другому ели, одевались. Все было по-другому. Мне нравилось. Но я понимал, что летом бывает юг и море, а потом обратно. И в том, что мы возвращались домой, не было ничего плохого. Просто кончилось лето. Надо ехать домой, в наш город, к нашей реке.

Мне никогда не нравилось купаться в нашей реке. По камням было больно заходить в реку, у реки всегда кусали комары и слепни, и течение было настолько сильным, что нужно было затрачивать массу усилий, чтобы тебя не снесло далеко вниз. И к тому же, если приходилось купаться в нашей речке, это значило только то, что этим летом нам не удалось поехать к морю и пришлось остаться дома.

К тому же я боялся нашей реки. Дед рассказывал, что много мальчишек утонули в водоворотах или попадали в струи холодных ключей и тонули от судорог. Еще он много раз подчеркивал, что тонули самые лучшие пловцы и храбрецы. Но я не так сильно боялся слов деда, как рассказа одной тетушки, которая жила в нашем доме. Она рассказала, что ее сын утонул много лет назад. Она говорила, что он был сильным, хорошо плавал. Он закончил школу и... утонул летом после окончания школы.

А однажды я видел утопленника. Это так сильно поразило меня. Несколько моих друзей и я, нам было по двенадцать лет, были на рыбалке. Родители совершенно спокойно нас тогда отпускали на рыбалку без присмотра. Так вот, мы рыбачили у поворота реки, где течение совсем стремительное, и пескари ловятся лучше. К полудню нам уже наскучила рыбная ловля, мы выкупались и пошли обратно. Шли по берегу, идти нужно было долго. Мы шли и увидели двух мужиков, которые сидели и курили у самого берега, а третий мужчина лежал у самой кромки воды. Он лежал лицом вниз. На нем была клетчатая рубашка с коротким рукавом и синие

спортивные брюки. Обuvi на ногах не было. Я увидел совсем белые, распухшие пятки. Помню темные короткие волосы и еще у него на руке были часы. Я остолбенел. Мы, прежде чем толком понять, что перед нами, успели подойти совсем близко.

— Ну-у, чё уставились?! — крикнул один из курящих — Давайте, валите отсюда.

Мы убежали. Я выбросил всю рыбу, что наловил за утро. И долго потом не мог подойти к нашей реке. Можно было, правда, купаться не только в реке, но и в озере, которое было недалеко, на песчаных карьерах, в которых вода была совсем теплая. Но пугали пиявки. Я боялся пиявок смертельно.

Однажды папа напугал меня пиявками на всю жизнь. Мы зашли в аптеку, мне было лет семь, и конечно мое внимание привлекли пиявки, которые красиво плавали в большой стеклянной банке. Видимо, я к тому моменту сильно допек отца какими-то своими разговорами и вопросами.

— Вот, посмотри — это пиявки, — сказал он, если будешь много болтать, я куплю тебе пиявку.

Я очень удивился и недоумевал.

— Знай, — продолжил папа — пиявки пьют кровь. Вот сейчас они такие тоненькие, а если она к тебе присосется, станет толстая-толстая. Вот я куплю тебе такую, если будешь болтать все время, посажу тебе на язык, она высосет кровь из языка, язык станет тоненький-тоненький, и ты не сможешь говорить. То есть, говорить-то ты будешь, но тебя не будет слышно.

— А это больно? — прошептал я.

— А как ты думаешь? Это больно, когда из тебя кровь высасывают? Конечно больно!

Папа потом извинялся, просил прощения, говорил, что это совершенно не больно, и что он пошутил. Но дело было сделано. Я рыдал до изнеможения, и ужас перед этими существами навсегда укоренился в моем сердце и сознании.

Город вообще был наполнен страхами и запретами. В нем были относительно безопасные маршруты и вражеские территории, неизвестные пространства и зоны средоточения злых сил. Но совершенно безопасных мест не было вовсе. Даже в наш двор могли придти парни из соседнего двора, чтобы отобрать у нас что-нибудь ценное, разрушить наши какие-нибудь постройки, обидеть

нас... Опасно было ходить одному в кино. Возле кинотеатра могли ограбить пацаны, которые жили рядом с кинотеатром. Они отбирали мелочь и производили тяжелое впечатление. В районе телецентра жили, как гласила молва, особо жестокие и страшные парни. Я туда не ездил никогда, но много слышал про ужасы, которые там творятся. Страшным словом было слово «кирзавод». Туда нельзя было ездить ни в коем случае, почему, никто толком не объяснял, просто там был полюс зла. Как выяснилось позже «кирзавод» — это просто кирпичный завод. А телецентр оказался тоже вполне обычным районом, просто там торчит в небо телевизионная антенна нашего города. Ночью на ней горят огоньки, чтобы в нее не врезался самолет. А для чего они еще могут на ней гореть?

Ужасно притягательными, но также жуткими были большие, давно остановившиеся стройки, которые, наверное, и по сей день не завершены. Там, в этих темных, пустых окнах, в замерзших, но скрипящих на ветру кранах, в строительных вагончиках и всем остальном строительном лабиринте было столько тайны и мрака. Ходили страшные мифы об убитых школьниках, которых заманили туда, в эти глубины стройки. Еще ходили рассказы, которые были уж совсем странные, невнятные и связанные с какими-то эротическими страшными приключениями... И к тому же родители именно на стройки ходить запрещали особенно строго.

До нас упорно доходила информация об одном парне из другой школы, у которого отец военный и у этого парня есть специальная красная фотографическая пленка. Красная пленка — это была такая пленка, на которой все, кого фотографировали, получались голые. В эту информацию мы верили, потому что эту пленку тот парень якобы хотел продать. Цена была большая, но, в общем, реальная. Мои друзья и я хотели купить её, но как-то тот парень то не приходил на встречу, то болел, то говорили, что его отец узнал, про то, что его сын хочет продать военное имущество. В общем, ни того парня, ни пленки никто из нас не увидел. Как я мог в это верить? Я к тому времени уже умел фотографировать, проявлять пленки и прочее. Но верил свято. Потому что весь город верил в это.

Город весь состоял из таких историй, знаков и манящих соблазнов. Он был огромен и еще он рос. Я всегда жил на окраинах города, в новых районах. Мы несколько раз переезжали из одного нового района, которой только-только начинал благоустраиваться, в еще более новый район, где никаких признаков благоустройства

не было.

Я помню, как мы переехали в новенькую девятиэтажку, которая стояла у самой городской черты. За этой чертой был березняк, а дальше поля. К нашему дому иногда забредали коровы, и еще приезжали деревенские мальчишки на лошадях. Они опасались нас, а мы побаивались их. Но в них чувствовалась какая-то настоящая взрослость, в этих деревенских пацанах. Все они свободно курили, причем, курили не показно и не для самоутверждения, они курили потому что... курили. Им нравилось курить, они хотели курить, вот и курили. Было отчетливо видно, что они не спрашивали разрешения куда-то пойти или поехать. Они делали, что хотели, они были на лошадях, у них были кнуты, и еще у всех у них были ножи. А приезжали они к нашему дому чтобы прокатиться на лифте, и посмотреть с крыши на свою деревню и на реку, которую было от-лично видно.

Город довольно быстро добрался до этой деревни и поглотил ее. Там теперь стоят девятиэтажные дома, в них давно уже живут люди, многие родились в этих домах. Представляете, они успели в этих до-мах родиться, пойти в школу, закончить школу, и... А я помню, как копали котлованы и вбивали сваи, чтобы строить эти дома. Хотя я ведь еще совсем не старый... и даже не пожилой человек. А какой я тогда, если я помню, как строили те дома.

Но я так же отчетливо помню, как размеры и объемы города вдруг стремительно сократились и стали ужасающе, бессмысленно тесны мне. Казалось, мне нечем дышать в этой тесноте. Исчезла глубина, проявилась только поверхность города. Город перестал быть живым и необходимым. Это случилось тогда, когда я подумал о том, что можно было бы уехать из него. И как только пришла мысль, что можно уехать... следующая мысль была, что надо уехать обяза-тельно! И вся живая теплота города, идущая от дедовых рассказов, от родных людей, от важнейших событий, которые я пережил в моем городе, вся эта живая теплота сразу исчезла за объективной и конкретной некрасивостью типовых домов, за пылью, летящей из под колес городских автобусов, которые везут по маршрутам у-сталых и невеселых моих земляков. Живую теплоту моментально задушила своими длинными ночами холодная, ветреная, суровая и невыносимо долгая сибирская зима. Без живой теплоты, без любви стало все видно, и видно стало все не то, что помогает жить и спасает...

— Что,- думал я — должно было заставить неведомых мне людей построить здесь город. Почему они выбрали именно это место для нашего города. Они шли через леса и вышли к реке... Им что, так понравился вид на реку? Зачем тогда они так страшно испортили этот вид, построив такой город? Здесь что, какое-то изобильное место? Земля здесь родит лучше, чем в других местах, климат хороший, много дичи в лесах? Почему они построили город там, где построили. Не понимаю.

Но однажды, стоя в одном не самом большом, и не в самом красивом итальянском городке, на мосту через чистую маленькую речку с быстрыми рыбками, я подумал: «Вот как так? Вот эти люди родились здесь, среди прекрасных гор, виноградников, до моря рукой подать, они веселые, у них так тепло, вкусно и красиво. Италия!!! Они родились здесь и палец о палец не ударили, чтобы жить среди такой красоты. А я просто родился в сибирском городе, и у меня все не так. Я родился там, а они здесь. Как же так! Как не справедливо...»

А когда я вернулся в свой город, где шли бесконечные холодные дожди, на деревьях уже не было листьев, все машины были одного грязного цвета... я подумал тогда, что все это заговор. Причем, заговор лично против меня.

Интересно, дед когда-нибудь ощущал тоже самое или нет. Черный гранитный памятник на его могиле стоит на городском кладбище в тесном окружении могил тех, кто тоже не уехал из нашего города. Зимой могилу моего деда засыпает снегом почти совсем. Присмотреть некому, мы все уехали... Печально городское кладбище нашего города, как печальны все сибирские кладбища. «Новые» городские кладбища, которые давно уже не новые, лежат за городской чертой. Начатые когда-то с какого-нибудь более-менее живописного и сухого холма, эти кладбища расползлись в стороны, затекли в низины и березняки, уткнулись в насыпи железнодорожных веток, потекли в поля. На многих и многих железных надгробиях уже нельзя прочесть имен и дат жизни и смерти. Эти железные памятники покосились, заржавели, заросли совсем. К ним, к этим могилам, никто не приходит. И даже не потому, что память короткая или потому, что те, кто мог придти лежат где-то рядом, а просто многие и многие уехали... Уехали, не вернулись, и не вернуться уже никогда. Я слышал, слышал неоднократно от разных людей, моих земляков,

которые либо печально шли к выходу с кладбища, похоронив кого-то, либо когда они стояли над могилами, приехав посетить, привести в порядок эти могилы и отдать должное памяти дорогих им людей... Они говорили, окунувшись в кладбищенскую атмосферу и насмотревшись на забытые могилы, на выцветшие пластиковые венки, на ужасных работников кладбища, которые совсем не похожи на шекспировских могильщиков-говорунов... Они вообще ни на кого не похожи, тем и ужасны... Так вот, я слышал: «Сделаю все, чтобы не лежать здесь, и чтобы мои дети здесь не лежали».

А куда ехать? Как ехать? А главное, что должно было быть там, чего нет в родном сибирском городе? А еще точнее, чего там быть не должно, что есть в наших местах и из-за чего имеет смысл ехать? Главное, чего там быть не должно — это холода, и важнейшее, что там должно быть — это тепло. Хотя я не помню, чтобы мороз доставлял мне много неприятностей и как-то угнетал меня. До поры, до времени мороз только морозил и все. А это же нормально, особенно в Сибири.

Но только мне было непонятно, как это может быть не холодно зимой? Когда мы ездили летом к морю, южные люди, дети и взрослые, узнав, что я из Сибири, с почтением спрашивали меня: «Ой, у вас там, наверное, очень холодно зимой?» Сначала я честно говорил, что не холодно, а нормально, а потом понял, что от сибиряка нужен обязательный ответ: «Холодно!» И через некоторое время я с удовольствием рассказывал, как у нас из-за морозов отменяют занятия в школах, как у нас много снега, и какой толстый лед бывает на нашей реке.

— Если с утра мороз минус тридцать пять, то отменяют уроки только с первого по третий класс, а все остальные учатся — говорил я. Мне приятно было видеть, какое впечатление и ужас расширили глаза моих юных слушателей. -35С для них были невероятной температурой. Я чувствовал себя закаленным, сильным, опытным, а главное, приобщенным к какому-то великому братству, некоему благородному Сибирскому ордену, спаянному неведомыми южанам морозами, снегами и льдами. Я видел, с каким уважением они смотрели на меня.

Южные ребята гораздо проворнее меня лазали по фруктовым деревьям, скакали через заборы, плавали на лодках, гоняли

на велосипедах, и бегали босиком по горячему песку и асфальту. В них было гораздо больше беспечности, какого-то летнего азарта. Они могли на собранную где-то мелочь купить в магазине большой круглый хлеб, а все остальное натаскать из садов и огородов. Они лазали за пыльными, теплыми помидорами и огурцами, за яблоками, сливами, подсолнухами, и даже баклажанами. Баклажаны потом выбрасывали, потому что, а как их было есть? Но удержаться и не стащить баклажаны они не могли, слишком те были красивые.

Они постоянно предпринимали разные далекие и не очень экспедиции. Например, на узловую железнодорожную станцию, чтобы полазить по вагонам, что-нибудь найти и стащить. В порт или на рыбоконсервный комбинат, с той же целью. Я ходил с ними, но всегда тревожился, опасался, а то и просто боялся, что об этом узнают родители. Это было самое страшное. Сторожа, милиция и вполне реальные технические опасности для жизни были не столь страшны. Но мои южные, ловкие, покрытые толстым многолетним загаром летние товарищи вообще ни о чем таком не думали. Они могли сесть на велосипеды и уехать на какие-то озера за раками с ночевой, или так же, с ночевой, на военный полигон, чтобы поискать там гильзы от автоматных и пулеметных патронов. Я не ездил с ними, мне даже в голову не могло придти, попросить разрешения у родителей поехать куда-то с друзьями с ночевой и без взрослых. А уйти без разрешения?.. Я был не сумасшедший...

Надо мной посмеивались, обидно шутили, и особенно сладко рассказывали про вылазки на маяк, на самый верх, или про ночную ловлю креветок, которые, якобы, ночью ловятся необычайно. И как потом вкусно сварить их прямо в морской воде...

Во мне не было этой южной беспечности. Но мои морозы в моем родном городе, мои льды и снега оставались при мне неразменной монетой. Меня уважали. Уважали за Сибирь.

Мне интересно, как могли мои южные приятели представить себе морозный январский сибирский день. Уж точно не так, как это выглядело, и было на самом деле. Они не могли представить себе темное утро с морозной дымкой, висящей даже не в воздухе, а как будто притупляющей зрение. Люди идут ссутулившись, и на поднятых воротниках и опущенных ушах шапок иней. Деревья все белые от тонкого искристого налета, они неподвижны, и кажется, звенят

от своей промерзлой хрупкости. Из скрипа снега под ногами как бы убрали низкие частоты, и он превратился в тихий визг. На автобусной остановке люди переминаются и дышат сквозь шарфы и рукавицы, газетный киоск весь побелел и светится просто, как кусок льда. Машины едут мимо, оставляя облака дыма и пара, и эти облака тут же превращаются в морозную дымку, которая притупляет зрение.

Но несмотря на все звуки и скрипы города, все равно ощущается тишина. Та тишина, которая должна царить в такой мороз. Тишина, которая там, в полях и лесах, там, за городской чертой. Там, где непонятно как выживают в перелесках редкие зайцы и какие-то странные птицы, которые почему-то не улетают в теплые края. Там, где сквозь низкую морозную дымку пробивается самолет, подлетающий к городу. И этот самолет почти не чувствует разницы между холодом десятитысячной высоты и тем морозом, который опустился на мой город. Такая тишина, в которой кажется, что можно услышать, как растет и растет, как утолщается лед на реке.

Эта тишина заполняет собой все пространство между звуками и быстро гасит любой звук. Эту тишину слышно даже в замерзшем вагоне трамвая, который стучит и лязгает. Трамвай бежит по холодным, как северный полюс рельсам, внутри теплее стоять, чем сидеть. Окна вагона покрылись толстым матовым льдом, на этом льду видны следы, которые процарапали, продышали те, кто ехали в этом трамвае раньше. Кто-то оставил на окнах следы, похожие на следы голых детских пяток. Такой след получается, если ребро ладони приложить к замерзшему окну, сжать ее в кулак, и ждать когда в толстом инее протает след. А потом к тому, что получилось, нужно добавить следы пальцев. Получается очень похоже на отпечаток детской ноги. След, который меньше всего сочетается с лютым холодом.

Так вот: стучит трамвай, гремит и лязгает, но между всеми этими постоянными звуками все равно слышна тишина. Это холод. Холод.

Как же страшно выходить в такой мороз. Пугает сама цифра. Пугает показание термометра. Или, когда слышишь по радио, что температура воздуха -42°C , это пугает само по себе. Выходя в такой мороз страшно сделать первый шаг, первый вдох. Но вот ты шагнул, потом вдохнул и ничего страшного, ничего особенного. Не холодно. Совсем!

Я помню, как я первый раз выпил водки. Я боялся этого. Я же помнил с детства, как кривились и морщились от водки взрослые

и сильные мужчины, в том числе мой дед и отец. Я помнил как, выпив водки, кашляли и до слез теряли дыхание хрупкие героини кинофильмов или иностранцы в тех же фильмах. Я боялся не выдержать испытание глотком водки. Но вот мне наливают, на мой взгляд, очень много водки. И я вроде бы взрослый, если мне можно выпить водки. И отказаться и сбежать уже нельзя, к тому же я чувствую, что это точно важная веха в моей жизни, и что назад дороги нет. И вот я беру рюмку, и вот поднимаю... и вот я пью и уже глотаю ВОДКУ... И ничего страшного! Она легко льется в горло, и ничего ужасного не происходит, и вот он, вкус водки... С этим вкусом жизнь уже идет дальше...

Вот так же и мороз. Кажется, что его нет, как в первую минуту в бане, куда заходишь, и нельзя поверить, что там почти температура, при которой кипит вода. Потом сухой жар охватывает тебя... Так же и мороз. Выходишь из дома и не успеваешь дойти до соседнего, как рука в рукавице тянется к лицу, и закрывает нос, шея и плечи как-то сами ссутуливаются и...

Водка также, проявляется вскоре, но не сразу. И вкус её становится фактором второстепенным...

Нет, нет, когда я бывал на юге у моря, я рассказывал про снежные крепости, снежки, про каток и хоккейную площадку на школьном дворе, про строительство и заливание горки и про катание с этой горки. Катание до предела сил и до последнего человека.. В смысле, пока всех не позагоняют домой. Самостоятельно никто не уходил. Я рассказывал про катание на лыжах и санках. Врал, конечно, что у нас есть высокие горы, врал, что снега насыпает за зиму до второго, а то и до третьего этажа, и что сосульки бывают по пять метров. Я видел, ребята завидовали.

Я рассказывал им про то, как сильно болят пальцы на ногах, когда накатаешься на коньках и не заметишь, что пальцы в тесных ботинках коньков совсем одеревенели от холода. Я им говорил, что когда засовываешь замерзшие ноги в холодную воду, вода кажется горячей. Они удивлялись, не очень верили, но завидовали и этому.

Как они могли представить себе такое, когда я сам не мог представить себе, как может быть не жарко на юге у моря. Я не мог тогда представить себе южной зимы. И я не мог тогда понять, что можно жить без морозов. Что мороз — это не обязательно.

На меня огромное впечатление произвели рассказы Джека Лондона.

Мне было лет двенадцать, я прочел несколько рассказов, был потрясен и за год прочел собрание сочинений Лондона... Я даже прочитал все рассказы про южные моря, не очень понятный мне тогда роман «Мартин Иден», и прочую тягомотину типа «Маленькой хозяйки большого дома». Но северные рассказы поразили меня. Поразили тем, чем и должны были поразить, то есть, ощущением всепроникающего холода. Рассказ «Белое безмолвие» был таким, что когда я прочел его, я отложил книжку и не мог придти в себя, все думал и думал, думал и думал.

В рассказах Джека Лондона были, например, такие повторяющиеся детали, как замерзшие спиртовые градусники. Неоднократно герои его рассказов, выйдя из хижины, глядели на такой градусник и видели, что он замерз на отметке... Не помню точно, на какой. Или также неоднократно в том или ином рассказе говорилось, например, что Мейлмуд Кид плюнул, и услышал треск, это слюна замерзла еще на лету.

Но больше всего меня поразило рассказ, где один молодой парень пошел из одного поселка в другой на вечеринку, как раз в такой мороз, когда градусник замерз, и слюна замерзала. Идти было недалеко, он пошел, а за ним увязалась собака. Он шел, и, переходя через реку, попал в полынью, и намочил ноги. Нужно было непременно просушить обувь, иначе смерть. Он быстро собрал дров, спички были при нем, костер даже начал уже разгораться, как вдруг с сосновой ветки упал снег и погасил костер. Просто он сложил костер прямо под деревом. Он снова сложил костер и попытался его зажечь, но пальцы уже не держали спички и вообще не слушались от холода. Дыханием уже невозможно было их отогреть, тогда герой рассказа стал гоняться за собакой, которая так и не уходила от него. Он хотел поймать собаку, разрезать ей живот, и согреть пальцы в горячих внутренностях. Он пытался, но собака уворачивалась, в конце концов, парень сел и замерз, не дойдя совсем немного до дома, где его знакомые веселились и поджидали его.

Я читал эту историю и пытался понять и представить, как такое возможно, и что при этом должен чувствовать человек. То есть, наш мороз был морозом, в котором я родился и жил. А тот мороз, который был там в рассказе меня пугал. То есть, я реагировал на холод Джека Лондона так же, как любой нормальный человек. Так же, как тот, кто родился и живет там, где даже не бывает снега.

Когда из-за низкой температуры отменяли занятия в школе мы бежали в кино, или даже просто играть во двор... А там Аляска,

собачьи упряжки и настоящий смертельный холод. А у нас нормально. Нормально!

Сколько бы американские актеры не пытались изобразить русских в кино, у них ничего не получается. Чаще всего Россию изображают занесенную снегом. А если снег — значит зима, а если зима — значит холодно, а если холодно — значит герои должны быть тепло одеты. А что значит быть тепло одетым по-русски? Как проще всего изобразить русского человека зимой? В шапке-ушанке! И тут можно пригласить лучших консультантов, купить настоящую шапку, и даже поехать снимать кино в Россию зимой, все равно у американца не получится надеть шапку-ушанку, как надо. Она на американце всегда будет не по размеру, не того цвета, да и вообще будет неуместна. Американец никогда не сможет надеть шапку так просто, и не думая об этом, как сибиряк. А самое главное, он никогда не почувствует в шапке ее обязательной необходимости, как чувствуем это мы...

У меня был приятель в родном городе, папа которого африканец. Когда-то, студентом, он приехал в Новосибирск, познакомился с красивой студенткой, которая изучала там французский язык, в результате появился мой приятель. Он очень темнокожий человек, и по нему сильно видно, что Африка для него не чужой континент. Но, как-то я не придавал этому значения. Мы ходили с ним в соседние школы, частенько играли вместе, и так далее. Он был просто наш товарищ, такой же, как мы, и ничем особенным не отличался. Он одевался и носил шапку, как надо. Он был сибиряк. В нашем городе совсем не было чернокожих людей... Он был наверное единственный. Но он был сибиряк.

Когда же я с родителями приехал в Москву зимой и увидел в первый раз в жизни чернокожих, я подумал: «Вот какие они, негры!» Они одеты были в какие-то нелепые пальто, замотаны были в полосатые шарфы, и на головах у них торчали яркие вязаные шапочки с помпонами. Они шли по улице, веселились, и все подряд фотографировали. Я потом рассказывал про них тому моему приятелю...

— Ты знаешь, они одеты были, как клоуны, — смеялся я. — как они в такой одежде не замерзли.

— Да-а-а, — говорил мой более, чем смуглый товарищ, — простудятся, тогда поймут.

Он, в своей потертой, каракулевой ушанке и в помятых валенках, совершенно не ассоциировался с теми иностранными темнокожими людьми, что я видел на московской улице. Шапку он носил правильно.

Когда мы встретились с ним в студенческие годы, он мне рассказал, что служил в армии недалеко от Байкала... А точнее, за Байкалом.

— Однажды, — говорил он, улыбаясь, — зимой, в воскресный день, мы за территорией воинской части стали играть в снежки. Погода была хорошая, нас отпустили из части в город. Мы шли по дороге и вдруг стали играть в снежки. А красота такая! Лес кругом, снега свежего полно, солнышко, до города идти далековато. Да и городок-то такой маленький. Ты представляешь себе, где это вообще? За Байкалом вообще! Глухомань! И вдруг едет машина военная. Мы стали от снега отряхиваться. Машина — это значит начальство. И вдруг эта чертова машина останавливается, оттуда выглядывает генерал в папаше и зовет меня. Я к нему подбегаю и докладываю: «Товарищ генерал, рядовой такой-то (не помню теперь его фамилии, но фамилия такая простая и очень русская) по вашему приказанию прибыл». Вот так говорю и вижу, что генерал-то с похмелья и к тому же уже пьяный. Посмотрел на меня генерал, широко перекрестился, захлопнул свою дверь и уехал, не сказав ни слова...

Я помню свою кроличью шапку. Она уже была не новая, её отдал мне донашивать дед или отец. Черная кроличья шапка, которая выдержала такие испытания! Она быстро стала бесформенной, точнее, принимала любую форму легко. Утром, придя в школу, я сминал её и заталкивал в рукав. После уроков мы бегали и кидались шапками, или то одной, то другой шапкой, в том числе периодически и моей, играли в футбол, точнее, просто пинали её по коридору школы. Моя шапка каждый день намокала от снежков и пота, а за ночь высыхала на батарее. Эта шапка выдерживала все и оставалась шапкой-ушанкой. О её красоте я не задумывался, но то, что она была крепкая — это точно.

Пропала эта шапка, продержавшись на моей голове две зимы. Пропала весной. Мы с друзьями пошли смотреть ледоход. В конце марта или в первых числах апреля лед на нашей реке взрывают, чтобы он сошел раньше, и не было уж совсем сильных паводков. Мы пошли на мост, потому что кто-то сказал, что лед утром взорвали.

Мы стояли на мосту и смотрели вниз. Народу было много. Ледоход так шумел под нами, что приходилось кричать. Огромные темные куски льда быстро ползли, раскалывались о каменные опоры, казалось, что мы стояли на носу ледокола, который шел вперед и колот арктический лед. Зрелище было столь завораживающим, что мы смотрели и смотрели. И еще где-то в глубине души я хотел, не надеялся, а именно хотел, увидеть, как ледоход закончится. И я даже пытался представить себе, как вдалеке блеснет чернота открытой и свободной ото льда воды, и последние льдины проползут под мостом, и потом скроются вдали.

День был солнечный и ветреный, такой день, когда можно зайти за угол дома, спрятаться от ветра, прижаться спиной к чуть-чуть согретой солнцем стене и почувствовать всем сердцем радость прихода весны и тепла... Стоять, жмуриться и улыбаться. Причем, улыбаться такой улыбкой, какой улыбается солнышко на детских рисунках. Я, когда был маленький, как и все рисовал солнцу глаза, нос и рот... И солнце всегда улыбалось.

День был солнечный, и я то снимал шапку, то надевал её снова. И вдруг выронил её, и она полетела вниз. Мост, который якобы построили пленные японцы, высокий, высокий. Шапка летела вниз долго и упала на льдину. Льдина скользнула под мост, я перебежал на другую сторону и долго смотрел, как уплывала на льдине моя шапка. Лед трещал, ломался, было так много движения, и картина ледохода беспрерывно менялась, но я долго видел, как крохотным черным пятнышком уплывала по реке моя старая шапка. Как страшно было видеть, как привычный и родной мне, такой простой предмет, моя шапка, вдруг, стала частью мощной стихии.

Меня поругали за шапку, весну я доходил в лыжной шапочке, я дальше уже не помню точно... Только родителям я не рассказал, что случилось, просто сказал, что шапка пропала в школе и все. Про ледоход я не стал говорить. Опасался.

Я отлично запомнил, как уплывала моя шапка. Мне тогда было неизвестно, куда течет река. Она мощно текла куда-то в даль. Это потом я узнал, а точнее, осознал и почувствовал, что моя река и река на карте имеют одно название не случайно. Вот на эту речку нанизаны три города, а дальше она вливается в совсем большую реку, и течет эта река еще дальше, и в основном по безлюдным сибирским километрам.

Как странно. Я ведь и тогда, стоя на мосту, не думал, что моя шапка будет так плыть, плыть и потом попадет в море, и там её проглотит акула, а потом эту акулу поймают туземцы, вскроют ей брюхо, а там моя шапка. То-то они бы удивились. Я так не думал. Было ясно, что никаких акул там дальше, вниз по нашей реке, нет и быть не может, и теплое море и острова с туземцами тоже совсем в другой стороне. Так что, какой смысл фантазировать.

А когда мы с папой плыли на теплоходе по Черному морю, папа предложил написать записку, засунуть её в бутылку, бутылку хорошо закупорить и бросить в море. Просто так, приключения ради. Как я был рад! Я аккуратно написал в записке свои фамилию, имя, возраст, номер школы и класс. Написал название нашего города. И больше не знал, чего еще написать. Но, мне кажется, что этого было совершенно достаточно. Мы бросили бутылку за борт, и фантазия разыгралась невероятно. Я несколько лет сладко думал о той бутылке и даже чего-то ждал... А в нашу реку я не видел смысла бросать бутылку с запиской.

Как же странно! Огромная территория Сибири... Её размеры трудно представить, а осмыслить, по-моему, совсем нельзя, но на всей этой территории от Урала до Байкала нет никаких... Я даже не знаю, как сказать... Ну нет никаких удавов или просто сильно опасных ядовитых змей. Нет тарантулов и сколопендр, нет даже скорпионов. На всей территории Сибири не встречаются какие-нибудь удивительные и опасные животные. Их там нет. Нет каких-нибудь опоссумов или утконосов, нет каких-нибудь редких ленивцев или муравьедов. То есть таких, за которыми гонялись бы зоологи, и владельцы зоопарков мечтали бы о таких. Нет даже ядовитых лягушек или гигантских черепах. Есть только зайцы, лисы, косули, лоси, барсуки, волки и медведи. Их, конечно, видели не многие, но чучела этих животных пылятся по всей Сибири в краеведческих музеях. Причем, от Урала и до Байкала водятся, в общем-то, одни и те же животные. Одни и те же! А в речках и озерах нет, и не будет пираний или хотя бы гуппий. Я не говорю про дельфинов, акул или скалярий. Хотя бы одна медуза. Маленькая!

Хотя бы крохотный кальмар или осьминог. Пусть не сейчас. Пусть бы дедушка хоть раз сказал бы, что он помнит, как в нашей реке водились электрические скаты, пусть маленькие, пусть

не красивые... Нет! Только барсуки и медведи, которых никто не видел. А в водоемах только пескари, ерши, да окуньки.

Лес за городской чертой не страшил, не тревожил воображения, там невозможно было нафантазировать себе гориллу или анаконду. Некий волк, которого конечно можно было себе представить и его побояться, все же очень был похож на нормальную, только очень уж злую собаку. Его можно было бояться только совсем в раннем детстве. Тех медведей, которых я видел в цирке, их вообще бояться было нельзя. Они были худосочные, в намордниках, бегали на задних лапах, как-то комично вихляясь, и попрошайничали. Еще они плохо ездили на велосипедах и еще хуже играли в хоккей. В смысле, медведи играли в хоккей хуже, чем мои друзья и я, а на велосипеде ездили, как трехлетние дети. Зачем такое показывать в цирке?

Конечно, когда-то по Сибири ходили мамонты, этикие огромные, волосатые слоны. Но все это было уж совсем давно, тогда и про динозавров можно фантазировать с тем же успехом.

Еще, на всей сибирской земле нет, и никогда не было ни одного рыцарского замка. Никогда никакие крестоносцы не доходили сюда. Здесь не было великих сражений, да и вообще, практически никаких сражений не было. Рыцари и крестоносцы были бы очень полезны для каких-то неведомых ощущений. Романы Вальтера Скотта были далекими, события происходили в его книгах там, в недостижимых пределах... Я читал эти книги, смотрел фильмы, мы с друзьями делали из штакетника себе мечи, щиты из фанеры или из крышек от кастрюль и ведер. Делали луки и играли в Робин Гуда. Уверен, что британские мальчишки тоже это делали и делают. Но вот интересно, с каким чувством я играл бы в крестоносцев или в Ричарда Львиное сердце, или Короля Артура, зная, что он когда-то жил в моем городе, здесь сражался, устраивал турниры, а недалеко от Предзаводского района стоят руины его замка. И к тому же там, где жили рыцари, все-таки, водились драконы и единороги.

Даже наш Александр Невский разбил крестоносцев очень далеко от моего города, и не в Сибири. (Кстати, хоть Александр Невский был и наш, и разбил крестоносцев, но крестоносцы были нам, мальчишкам, интереснее. Интереснее своими рогатыми шлемами, длинными мечами... вообще интереснее.)

До Сибири не дошел даже Наполеон, я уже не говорю про греков

и римских легионеров. Здесь никогда не было пиратов. Душегубы и разбойники конечно были. Но чего хорошего в мужике с бородой, в тулупе, с топором, который грабит, в общем-то, такого же, только без топора. В это играть или думать об этом было не интересно. В это невозможно было играть.

А что же было в Сибири? Было все то, что мы изучали по истории родного края. То есть, был Ермак со своими казаками. Это было не плохо, только Ермака быстренько убили, и он, если быть точным, не дошел и близко до того места, где родился мой дед, отец и я.

Потом были поселенцы из разных российских губерний. Но эти поселенцы совсем не похожи были на героев Фенимора Купера. Они не ехали в фургонах, не носили шляп, не стреляли из винчестеров и не сражались с индейцами. Не сражались, потому что не было этих самых индейцев.

Потом в Сибири нашли невиданные полезные ископаемые и из-за этого вся карта моих родных мест усеена черными квадратиками, треугольничками, кружочками. Дальнейшая, а точнее, ближайшая история — это история оснований и строительства комбинатов, заводов, шахт. Как же трудно было запомнить, удержать в памяти, хотя бы для одного урока, чтобы после этого урока все напрочь забыть... То есть, как трудно было запомнить важные даты, когда нашли уголь или руду, кто нашел, когда построили тот или иной комбинат, и кто его строил, сколько еще осталось в нашей земле запасов угля, руды и еще каких-то полезных ископаемых. Как трудно было все это учить и еще труднее это любить! Несколько успокаивала та информация, что руды, угля и прочего у нас было так много, как нигде в мире. Вот это было запомнить легко. Но лучше был бы хотя бы один рыцарский замок, а дедушка сохранил бы какую-нибудь ржавую шпагу или мушкет.

Кода-то через мои родные места, правда когда еще не было моего родного города, провезли декабристов. А во время гражданской войны в нашем городе даже стоял адмирал Колчак. Но эти факты меня ни раньше, ни сейчас особенно не вдохновляли и не подпитывали. Эти события не оставили никаких следов ни в городе, ни в моей жизни.

Зато на границе того района, где я прожил довольно долго и другого района, где я никогда не жил, есть тюрьма. Её называют «Пятёрочка». Просто тюрьма №5. Она обнесена обычной беленой

стеной с вышками и колючей проволокой, прожекторами и прочими атрибутами. Эта тюрьма здесь давно, в ней «сидят» опасные преступники. И сколько же таких вот стен и вышек стоит от Урала до Байкала. И как же неведома мне та жизнь, которая там, за этими стенами. Там другая планета. Я с самого детства чувствовал особый ужас, который сочился из огней, освещавших «пятёрочку». От этого света, от того, что за этими стенами происходит, и от той планетарно другой жизни, которая как-то там идет своим, каким-то ужасным чередом... От всего этого, как говорится зарекаться нельзя. Но... А что но? Что я могу про это сказать? Я не буду говорить про ЭТО. Про ЭТО и про Сибирь, в связи с ЭТИМ, так много сказано. Сказано по-разному...

Не буду говорить, потому что страшно! Страшно каким-то неформулируемым страхом, как от высоты, когда все пустеет где-то в животе, а потом пустота падает в ноги, в пятки, и этот ужас сковывает дыхание, сердце, волю... Но страх высоты возникает даже не от возможности упасть с высоты, а пугает сама высота. Высота пугает самим фактом... высоты. Если вы, конечно, боитесь высоты. Так же и те стены, и тот свет... Тот свет когда-то коснулся и истории моей семьи, моего прадеда, других неизвестных мне родственников, от которых остались только старые фотографии, а от кого-то не осталось ничего.

В Сибири, конечно, есть Байкал. И всякий сибиряк гордится им. Но я родился и вырос в Сибири, а увидел это великое озеро только совсем недавно.

Нет, Байкал — это не великое озеро. Великие озера там, в Америке и Канаде. Они даже так и называются — Великие озера. Они озера и есть. А Байкал, это совершенно непонятно, что такое. Это какой-то космический объект. Он непостижим, как непостижима его глубина.

В Сибири нет высоких гор, даже гор средней величины нет. Их просто нет, как нет экзотических животных и диковинных рыб! Но Байкал ощущается, как самая высокая скала, неведомая и непокоренная. Скала, которая просто устремлена вглубь. И нет человеческих сил, чтобы добраться до вершины.

Когда я увидел Байкал, я ничего не понял. Я даже не смог сказать ничего типа: «Ого!» или «Ух ты!» или дежурного «Какая красота!». Я увидел то, чего не ожидал увидеть. Не возьмусь описывать этого. Но только думать про Байкал, что это озеро, просто очень

глубокое... Так думать — это все равно, что в каком-нибудь шапито увидеть дрессированного медведя и думать, что это и есть настоящий медведь.

Однажды, во время каких-то летних юношеских приключений я был в таком месте, где-то... в общем, не в Сибири. Так вот, там была старинная каменная выработка. Многие сотни лет люди добывали там строительный камень. Но это не была шахта. Просто на вершине холма стали давным-давно брать тот самый камень, и углубились очень глубоко. Почти правильной формы квадратное углубление, метров пятнадцать на пятнадцать, увидел я, когда поднялся на вершину холма. Это углубление было заполнено водой. На поверхности неподвижной воды лежали палые листья. Солнечные лучи метра на два проникали вглубь, а дальше шла чернильная тьма. Вода была почти прозрачная, но с какой-то взвесью, которая в солнечном свете напоминала пыль, зависающую в луче, который пробивается сквозь шторы.

Мои знакомые сказали мне, что там, под водой, глубина больше восьмидесяти метров, что это очень старинная выработка, но камень уже не добывают более двухсот лет, и что постепенно яма заполнилась дождевой водой. Восемьдесят метров! Это впечатляло. Когда мы полезли туда купаться, я понял, что лучше было бы не знать про эту жуткую глубину. Глубина была столь страшна, что я даже не решился прыгнуть в воду ни головой вперед, ни ногами. Я осторожно скользнул в этот странный бассейн. Вода была прохладная. Но эта прохлада меня не обрадовала, хотя день стоял знойный. В этой прохладе я уже навывдумывал себе и уже успел почувствовать холод глубины. Я старался плавать по самой поверхности, двигаясь, как лягушка. Ноги в глубину я не опускал, а распластался и стал максимально плоским, так и плавал. Я почувствовал тогда, какой незащитный у меня живот, и как легко можно схватить меня за него и утащить туда вниз и во тьму. Все лохнесские чудовища и мурены из фильмов про океанские бездны тут же слились в один холодный страх. И центром этого страха был мой живот, не прикрытый ни ребрами, ни даже плавками. Только юность и присутствие друзей остановили меня от панического бегства из воды. Но купание было коротким.

Байкал вызывал и страх, подобный этому, и восторг, и магнетизм. А главное, ощущение нехватки сил понять, что же это передо мной. Но только было ясно, что вот это... то есть, то, что мы называем словом Байкал, мне не принадлежит, не относится к устройству моей

жизни. Это что-то далекое и вечное. А Великие озера в Америке и Канаде... это озера. Я там не был, но я читал Фенимора Купера «На берегах Онтарио». Читать было скучно, но интересно, занудливо, но красиво... А Байкал?.. Ну его, вообще! Он далеко. Он всегда был далеко. А от Москвы до Байкала дальше, чем от Москвы до Африки. Существенно дальше!

Где-то в Сибири еще лежит до сих пор не найденный Тунгусский метеорит. Но он как-то не тревожит воображение. Хотя он, конечно, штука интересная. Но не тревожит потому, что ясно, что его не нашли и не найдут. Никогда! Потому что там, где он упал, вообще ничего нельзя найти. А предположения о том, что это был инопланетный корабль, а не метеорит, совсем не состоятельны. Не состоятельны потому, что нужно допустить, что если инопланетяне долетели до нас, значит они не дураки. Тогда зачем им приземляться в Сибири, да еще в Тунгусской тайге. Чего там искать? Да к тому же в тайге такие комары, которые прокусили бы любой скафандр. Нет! Что-то не тревожит и не вдохновляет меня тунгусская тайна.

Черт возьми, как удивительно повезло итальянцам, у которых страна такая небольшая, можно сказать, маленькая. Но у них на каждом сантиметре столько истории, причем, истории со сражениями, гладиаторами, вулканами и мифами. У них везде море, острова, но в то же время есть и горы со снежными вершинами и пещеры... Есть известная всему миру итальянская еда... И даже карту Италии любой человек может приблизительно вспомнить и изобразить карандашиком на бумаге.

А карту Сибири нельзя изобразить, её, этой карты, наверное даже нет. Потому что нет четких границ. Где они эти границы? Очертания несуществующего острова сокровищ я помню, хотя этот остров и его карту просто выдумал и нарисовал Стивенсон. А Сибирь? Где она? Где она начинается и где заканчивается?

Житель Омска может сказать жителю Иркутска, если они встретятся где-нибудь на черноморском курорте... Он скажет: «Земляк!» А тот будет не против и даже рад. Они земляки, хотя между их городами легко уляжется вся Европа от Финляндии до Португалии. Вся Европа со всеми разными языками, диалектами, разными церквями, политическими устройствами, с разнообразными национальными типами и прочим и прочим. Ну,

представляете, что находится между Финляндией и Португалией! Сколько разнообразных кухонных традиций там, сколько гастрономических изобретений. И в каждой стране еще свои традиционные алкогольные напитки и способы их потребления.

А от Омска до Иркутска едят и пьют, в общем-то, одинаково и одно и то же. Сибирская кухня... Что это? Чем она отличается от уральской?

Там, на Урале, есть монумент, который стоит на границе Европы и Азии... То есть, значит город Воронеж более европейский, чем город Барнаул, что ли? Погодите-погодите! А почему! По каким таким признакам... Нет, это сложно, это дебри... Но где граница между чем-то и Сибирью? Мне нужно знать! Мне необходима система координат. Мне необходимо чувствовать особенность моего родного края. И не горсть мелких, едва различимых особенностей, а какую-то существенную, выпуклую, пусть даже режуще острую, но особенность. Где-то же должно быть то, что наглядно ясно, как то, что наверняка ясно швейцарцу, который пересекает швейцарско-итальянскую границу.

Транссибирская магистраль..... Она тянется и тянется, она пронзает... Пронзает что? В протяженности транссибирской магистрали даже не чувствуется расстояний. Между городами, что нанизаны на Транссиб, лежат не километры, а время. От Красноярска до Новосибирска столько-то, от Новосибирска до Омска столько-то. Часы и минуты. Скорый поезд — меньше часов, нескорый поезд — больше. Скорый поезд проскакивает, пролетает малые и средние города и станции, нескорый поезд останавливается в этих городах и на этих станциях.

На этих станциях можно купить вареную картошку, курицу, пироги, завернутые в газету. Можно купить пива или кефир... И ехать дальше, спросив у проводницы: «А далеко ли до следующей станции?»

— До следующей? — переспросит она — Ну-у-у, идем вроде по расписанию, через четыре часа будет следующая.

Вот так можно сесть в вагон в родном городе и выйти потом в Москве. Сесть вечером, прорезать скорым поездом две ночи, а нескорым поездом три... и выйти утром в Москве на Казанском вокзале... И не почувствовать никаких границ... никаких важных линий, отделяющих что-то от чего-то.

А там, в этих ночах и днях, какие-то деревни и поселки, десяток больших городов, картофельные поля, какие-то другие поля, бесчисленные железнодорожные переезды, дети, заглядывающие в окна проходящего поезда и машущие руками всем, кто на них из поезда смотрит и тем, кто не смотрит... И еще гулкие мосты через большие и малые реки... Да известно, что там...

Вокзалы, вокзальчики, одинаковые... Одинаковые, как типовые пятиэтажки. Только одни вокзальчики ухоженные, другие не очень...

А где же Сибирь во всем этом? За что мне зацепиться, чтобы ощутить конкретную привязанность к чему-то конкретному. Просторов сибирских я не чувствую, я чувствую только то самое время... Часовые пояса...

А если лететь на самолете, то исчезает и время... И получается, что между городами и в случае полета тоже не километры. Разница расстояний между городами ощущается только во время покупки авиабилета. Разница расстояний выражается в разнице цен на билет.

Я пробовал ехать по Сибири на машине. Я надеялся почувствовать простор и испытать мощь сибирского размаха, но выяснил, что если ехать на машине, то между городами лежит только усталость.

Однажды мы заехали с приятелем в какую-то маленькую деревню. Поехали из нашего города на рыбалку, а точнее, на активный загородный отдых, который для простоты называется рыбалкой. Такая рыбалка, на которую удочки берут, но про реальную рыбу не думают.

Мы заехали в деревню. Маленькую такую деревню, в каких живут в основном только старухи, а старики тоже есть, но их как-то сразу не видно. Мы остановились у деревенского магазина, чтобы уточнить, как дальше ехать, и чтобы зайти в магазин. Эти деревенские магазины так и тянут к себе редкого горожанина. В таких магазинах всегда хорошо, потому что случайному горожанину там ничего не надо. В таком магазине обычно два окна с решетками, дверь, с длинной щеколдой, и продавщица в ватном жилете. Там на полках стоят консервы, кастрюли, папиросы, мыло. Ниже всегда коробки с карамелью, лампочками или пряниками, ящики с гвоздями, топоры... Там можно купить ватник, резиновые сапоги и детскую панамку с Микки Маусом. Там до сих пор продаются отрывные календари... Там всегда прохладно, муха стучит в окно и жужжит. Там всегда есть хотя бы одна покупательница, которая беседует

с продавщицей.

Горожане, заходя в такой магазин, ведут себя тоже всегда одинаково. Они шумно и независимо здороваются с продавщицей и покупателями, говорят: «Та-а-ак, что у нас здесь?» Потом осматривают все, хихикают, громким шёпотом обсуждают неправильно написанные названия товаров, незаметно, как им кажется, тычут пальцами в резиновые сапоги или керосиновые лампы. Потом находят на полке бутылку какого-нибудь коньяку, который простоял там много лет и никто его не купил. Тогда они просят его им продать.

— А вы знаете, сколько он стоит? — спрашивает продавщица.

— Знаем, знаем, — хихикают горожане.

Потом продавщица долго ищет в тетрадке запись, сколько же действительно стоит эта бутылка, находит, не без вызова называет цену. Горожане удивляются тому, как это дешево, тут же платят, и весело удаляются, унося с собой то, что долго и, казалось, неизбежно украсило собой маленький этот магазинчик, и служило причиной многих разговоров и покачиваний головой.

Так вот, мы зашли в такой магазин, сделали все, как полагается горожанам, позубоскалили по поводу слова «куфайка». Это слово было написано на бумажке и приколото к ватнику. Рядом со словом было написано, сколько ватник стоил. Потом мы стали спрашивать, как нам лучше ехать дальше. Выяснилось, что у продавщицы одно мнение на этот счет, а у покупательницы другое. Они заспорили.

— Возвращаться надо, — говорила продавщица, — и ехать туда, в сторону Крапивино, там дорога хорошая.

— Так это какого клугалья давать! — возражала покупательница, — тут, мимо телятника напрямик, дорога-то подсохла уже.

— Где она тебе подсохла? Застрянут по уши...

И так далее... В это время в магазин зашел дед. Дед худой, совсем седой, с белой недельной щетиной. Он был в кирзовых сапогах, в брюках, которые были заправлены в сапоги, на поясе был старый-старый офицерский ремень. На деде еще была застиранная, но чистая рубаха. Светлая рубаха, застегнутая на все пуговицы. К рубахе на груди была приколата большая булавка, а к булавке шнурком была привязана алюминиевая коробочка, величиной с пачку сигарет. От коробочки к дедовой голове тянулся много раз перекрученный провод, в нескольких местах обмотанный синей изолентой. Провод заканчивался белой затычкой, которая была вставлена деду в ухо.

Дед был совсем без зубов, из-за этого лицо его было какое-то мягкое.

Но дед был не грязный, не замшелый. Просто старый такой дед. Дед со слуховым аппаратом. Он прошамкал что-то.

— Сколько, сколько? — громко переспросила продавщица, наклонившись к коробочке, висящей у деда на груди.

Тот что-то снова прошелестел, купил две пачки папирос, спички, немного карамели, которую ему положили в бумажный кулечек. Он сунул кулек с конфетами в карман, заплатил и ушел. На нас он не посмотрел. Он очень спокойно все сделал и ушел.

— Смотри-ка, — сказала покупательница, — а Космонавт-то еще ползает. Молодец!

— Что ты! — ответила продавщица — Погоди, он еще женится. — Потом продавщица посмотрела на нас и сказала — Космонавт наш Бабку свою недавно похоронил. Уже трех пережил. — И она улыбнулась...

Не помню, какая получилась тогда рыбалка, не помню, как называлась та деревня. Заехали бы в другую, увидели бы что-нибудь другое.

Отчего и почему горожанин испытывает какую-то покровительственную жалость, встречаясь с деревенским жителем, отчего, отъехав из города несколько десятков километров и въехав в деревню горожанин вертит головой по сторонам, тычет пальцем в петухов и гусей или в резные наличники и ставни какого-нибудь более-менее ухоженного дома, и ведет себя при этом, как турист в диковинном месте, как турист из богатого и преуспевающего края. Горожанин старается говорить с деревенскими вежливо и солидно, задавать какие-то вопросы, связанные с погодой, урожаем и удоями. Старается показать свою осведомленность, и посетовать на то, что климат теперь такой, что ничего не разберешь, и что раньше на Ильин день был всегда дождь, а теперь и не угадаешь. А когда горожанин слушает ответ деревенского жителя, то смотрит на него, как учитель смотрит на смышленного, но не очень радивого ученика, одобряя любой ответ, кивая и улыбаясь.

Откуда взялся во мне тот ужас и тоска, с которой я смотрел в окно скорого поезда, который проезжал, не снижая скорости, мимо какого-нибудь районного центра или мимо края небольшой деревни или мимо поля с одиноким трактором в этом поле. Эту жизнь по обеим сторонам Транссибирской магистрали я чувствовал неприменимой ко мне. Но при этом, как я могу определить свою жизнь,

жизнь возможную для меня, мою? Где она возможна, с чем она связана, из чего она состоит?

И еще, сколько я себя помню, я всегда понимал и чувствовал или чувствовал и понимал, что я живу далеко. Далеко, понимаете? То есть, моя жизнь, мой город, все, что меня окружает, то, из чего моя жизнь складывается... все это находится и происходит далеко... То есть, вдалеке от чего-то. Точнее, не вдалеке, а именно далеко от... от чего-то. Вот только от чего? И откуда взялось это понимание и чувство? Нет, я не ощущал свою жизнь, как периферийную и незначительную. Я был мал, потом юн, потом молод. Все имело значение, а моя жизнь тем более. Но откуда я узнал, что я живу далеко, и почему и откуда раньше этого знания появилось чувство, чувство, что я живу далеко.

Далеко от чего? От каких-то важных и глобальных современных жизненных процессов? Нет! Будучи юным, а тем более маленьким, я ощущал, что нахожусь в гуще важнейших и крупных событий. Далеко от чего, от Москвы, от Парижа или Лондона? Тоже нет. О Москве я не думал, как о географической точке. То, что происходило в Москве, скорее ощущалось как то, что происходит в телевизоре. В телевизоре и всё, без привязки к конкретному городу под названием Москва. А Париж и Лондон были уже так далеки!...Причем, далеки не от меня, а вообще. Так далеки, что возникали сомнения в их существовании.

Тогда от чего же я ощущал свою удаленность? Откуда взялось ощущение некоего центра и понимание, что я родился и живу не в этом центре. И что это за центр? Вспоминая себя маленьким или юным, я помню, что не чувствовал жизненного центра или приближения к этому центру, когда я ездил к морю с родителями, или, когда отдыхал у родственников в Средней Азии или еще где-то. Кто мне намекнул на существование этого центра и мою удаленность от него? Учителя в школе? Родители? Взрослые парни во дворе? Дед? Энциклопедии или словари?

Зачем это ощущение возникло во мне? Не для того ли, чтобы в какой-то момент лишить меня покоя, чтобы заставить меня пытаться преодолеть эту даль, потому, что жить в ощущении этой отдаленности стало невозможно. Как измерить эту отдаленность, равна ли она какому-то количеству километров? И еще, почему мне так нестерпимо стыдно, когда я думаю, что мой дед эту отдаленность тоже обязательно ощущал, но она не помешала ему жить и умереть в том месте, где он родился?

И почему то спокойствие и несуетность, которая чувствуется в неведомом мне деревенском укладе или даже в убогом и беспробудном пьянстве деревень, поселков и районных центров... Почему в этом спокойствии я фантазирую себе и желаю видеть гордость и мудрость, почему в этом неподвижном и почти беспроектном спокойствии я нахожу себе укор и так остро чувствую свою суетливость и необязательность того, что я делаю.

И еще, на фоне этого спокойствия так наглядно видна скорость или даже точнее шустрость эпохи.

Но когда встречаешься с настоящей гордостью и спокойствием... не с упертостью, не с самодовольством и надменной затхлостью, а именно со спокойствием, тогда...

Я только один раз в жизни был в шахте, то есть, глубоко под землей, в том месте, где добывают уголь. Мой родной край, это шахтерский край. Он и известен-то только тем, что в нем очень много каменного угля. Но шахт в моем городе нет. Шахт много в области. Шахты окружают мой родной город. Там трудятся шахтеры, но в самом городе ни шахт, ни шахтеров нет. Они присутствуют только в виде скульптур и барельефов, изображающих весьма атлетического вида мужчин в касках. На касках у шахтеров всегда есть фонари, этим их можно сразу отличить от солдат, сталеваров... и от всех остальных, кто в силу разных причин может быть изображен в каске... Например, от пожарных. Еще угольная тема присутствует в городе в виде названий: Проспект Шахтеров, Угольный проезд, Улица Горняков, и т. д.

Но увидел я шахтеров только тогда, когда выехал в шахтерский город в ста километрах от областного центра, то есть, от моего родного города. Я не буду описывать этот город. Для Бельгии этот город большой, для Китая — это даже не город, а на самом деле, это просто сибирский шахтерский город и все. Город со всеми признаками наличия большого количества шахт и людей, которые работают на этих шахтах. То есть, если бы не было под этим городом угля, то не было бы и самого города. А когда закончится уголь, то и города со временем не станет. А то, что уголь когда-нибудь закончится, было ясно даже тем, кто открывал когда-то там первую шахту. Так и живет этот город.

Когда я ехал в городском автобусе по тому городу, я с удивлением

увидел нескольких гладко выбритых мужчин с очень бледными лицами. Но больше всего привлекала внимание не их бледность, а то, какие черные и яркие у них брови и ресницы. Глаза у этих мужчин были явно подведены карандашом или тушью. Бледность их лиц только подчеркивала эту странность. Я посмотрел на них и ничего не понял. Одеты они были очень просто и неприглядно... Странно! Потом я увидел таких же людей на улице, в магазине, везде. Только через некоторое время я получил объяснение. Просто шахтерам в ресницы и брови набивается угольная пыль. Эта пыль такая мелкая-мелкая, и так она забивается между волосков на лице, что просто душем это не смыть. А выглядит это, как идеально исполненный макияж...

Мне повезло — устроили экскурсию на шахту, то есть, не в контору, где сидит управление шахтой, а туда, вглубь... Туда, где добывают уголь. Я не мог придти в себя после этой экскурсии несколько дней. Не подумайте, я не увидел там ничего страшного, я увидел там совсем другое... то, чего не ожидал увидеть.

Когда мы переодевались, чтобы спуститься в шахту, стало ясно, что шахта — это не лунапарк, не пещера ужасов и не музей. Мужики-шахтеры переодевались спокойно, переговариваясь и похохатывая. Сопровождал нас в шахту инженер этой шахты, он нам помогал и все объяснял. Сначала мы сняли с себя всю свою одежду и надели все шахтерское: исподние рубахи и штаны, потом специальные теплые брюки и куртки, потом обмотали ноги портянками и натянули на ноги высокие резиновые сапоги. На голову нужно было нацепить мягкую хлопчатобумажную шапочку, похожую на ту, что носит папа римский, а поверх нее уже надеть каску, правда почему-то без фонаря. Я так ждал этой каски с фонарем. В ней была квинтэссенция всего шахтерского ... Но лампы не было. Я недоумевал, но впереди нас ждал особый ритуал, который все объяснил. В специальном месте, через специальное окно, специальные женщины-ламповщицы выдали нам лампы и аккумуляторы. Женщина, что дала мне мой аккумулятор, спросила меня, как меня зовут и мою фамилию. Я сказал, она записала все это в журнал и дала мне лампу и аккумулятор. Она дала мне его так, и посмотрела так... Так, наверное, смотрела на своего героя Ариадна, давая ему свою знаменитую нить у входа в лабиринт. Аккумулятор нужно было повесить на пояс, лампу закрепить на каску. Мы это сделали, посмотрели в зеркало, поразились тому, что увидели, пофотографировались, и спустились под землю, так глубоко, что даже подумать про

это не получается.

Мы спускались и спускались, спускались... и все мои подвалы, погреба и музейные подземелья, которые я посетил, сразу забылись и исчезли из числа жизненных впечатлений. Меня поразило то...

Там, куда мы спустились, было довольно светло от электрического света, было много людей, и не было сыро и холодно.

— Вот поэтому никто не хочет работать на поверхности, — сказал инженер, увидев, как мы осматриваемся. Нас было несколько человек, экскурсантов.

— Почему? — спросил я. — Я не понял.

Инженер посмотрел на меня недоверчиво, как бы изучая, не шучу ли я. Было видно, что он удивлен моим вопросом и не понимает, как такое можно спрашивать, когда и так все очевидно ясно.

— Как почему? — спросил он, заглядывая мне прямо в глаза. — Там, наверху зимой — минус тридцать, летом — плюс тридцать, ветер, дождь, день, ночь. А тут всегда плюс одиннадцать. Всегда хорошая погода.

Мы смотрели друг на друга, и не верили друг другу. Не верили в серьезность друг друга.

Инженер рассказывал про то, что раньше в шахтах работали лошади, и все было по-другому. Он говорил, что за семьдесят лет от того места, где основали шахту, выработки ушли на много километров, несколько поколений шахтеров подняли на поверхность так много угля, что... Он говорил, а меня поражали масштабы проделанного труда и то количество лет, которое множество людей провели глубоко под землей. Но я никак не мог себе представить ту глубину, на которой мы находимся. Я напряженно думал об этом, будоражил себя, но ощутить не мог.

Это как когда идешь по брусчатке или старинной мостовой старинного города. Идешь, идешь по одной улице, другой, третьей, выходишь на мощеную площадь, и везде брусчатка. Только усилием мысли можно заставить себя попробовать почувствовать, что каждый камень где-то добыт, потом обработан. Каждый булыжник брал в руки какой-то мастер, искал камню место, укладывал его. И так все эти площади, улицы, дороги. Сколько здесь камней? А я просто иду, перешагиваю три-четыре булыжника за один шаг, шаги свои, конечно, не считаю...

Мы шли и шли, под ногами хлюпала вода, тоннель был бесконечен, и лучи наших ламп просто тонули в темноте, не встречая ничего

впереди, а по бокам и сверху был блестящий уголь. Мы шли, периодически встречали группы что-то делающих людей. Они здоровались, мы тоже, и шли дальше. Потом дошли до места, где были рельсы. Мы сели в маленькие вагончики, такие крохотные, что если бы эти рельсы и вагончики установить в каком-нибудь городском парке, то можно было бы катать детей. Мы долго ехали. Потом снова шли. Наш инженер объяснял нам, как устроена шахта, и как производится добыча угля. Я понял, что представлял то, как это делается, совсем по-другому.

— У нас здесь английское оборудование стоит и система тоже английская, — говорил инженер. — Хорошая техника. Наши комбайны, в общем, задуманы неплохо, но только ломаются постоянно. А англичане молодцы. Делают технику и нам, и африканцам, и австралийцам. Я-то поездил немало. Смотрел шахты в Бельгии. Но там мелочь, а не шахты. Украинцы тоже мучаются. У них-то угля осталось чуть-чуть. И шахты глубокие и угольный пласт, если даже шестьдесят сантиметров — уже разрабатывают. Шестьдесят сантиметров, представляете? Там так не походишь, как мы тут гуляем. Там люди ползают. А у нас два метра — это еще мы и не довольны.

Так он говорил и шел. Шел, кажется, самым обычным шагом, под ноги фонариком не светил. Шел, говорил, дыхания не терял, а мы едва за ним успевали.

— В Англии был, — продолжал он, — но там шахты — это уже музей. В Америке был. В Австралии вот недавно побывали. Там у них такое же, как у нас оборудование и устройство шахт похожее.

— Вы были в Австралии? — восхитился я.

— Да, вот недавно вернулся, — ответил он.

Я был изумлен. Наш инженер говорил об этом, как будто он ездил куда-то в Тюмень. Спокойно-спокойно говорил. При этом в его интонации не было ни позы, дескать, видали мы эту Австралию, мол, ничего особенного. Не было в его интонации и дремучей бесчувственности. Только спокойствие. Спокойствие!

— Ну надо же! В Австралии! Ну и как там, в Австралии? — спросил я, и зашагал быстрее, чтобы идти вровень с ним.

Он ответил не сразу. Он шел, и наверное думал, что мне сказать. Хлюпала вода под ногами, лучи наших фонарей качались, уходя в даль, или утыкались в мерцающие сколами угольного пласта стены, в лучах вспыхивала искорками угольная пыль. Над нами были толщи и пласты, грунтовые воды, глинистые и плодородные слои, над

нами был какой-нибудь березнячок или осинник. Он обдумывал ответ секунд двадцать, то есть, долго обдумывал...

— Как в Австралии? — переспросил он — Да вот так же. — и он повел рукой вокруг и поверх себя, повел рукой не останавливаясь.

Мне стало стыдно. Стыдно за свой вопрос, за то, как я фотографировался в шахтерском наряде, за то, как я подслушивал разговоры шахтеров, когда переодевался, за то, что вообще пошел на экскурсию взглянуть, как живут другие люди.

А в его ответе опять-таки не было ни вызова, ни высокомерия, ни даже снисхождения. Он просто хотел точно ответить на вопрос, вот он и ответил, максимально точно.

А еще там под землей, в шахте, я обнаружил то, что меня убедило в искренности слов нашего инженера, когда он говорил про то, что под землей работать лучше, чем на поверхности. Я увидел четко организованную подземную структуру, созданную по науке, по законам какого-то маркшейдерского мастерства и искусства. Я увидел порядок, причем, осмысленный порядок, без суеты и излишеств. Конечно, я был свидетелем нечеловеческих, на мой взгляд, условий работы, я увидел саму эту работу, и понял, что это не просто тяжелая работа, а отчаянно тяжелая. И еще я увидел шахтеров в их рабочем состоянии.

Когда я был наверху, когда ехал по городу, шел по улице, заходил в дома... Я видел только обреченный город, который взял все худшее от деревни и от большого города. Сарай, стайки, гаражи, приземистые дома, темные вонючие подъезды. Видел мужиков с невеселыми бледными лицами и четко начерченными глазами на этих лицах. Ясно, что когда они еще учились в школе, то с самого первого класса знали, что они будут работать под землей, потому что отец там работает, и дед работал. И это хорошо. И все об этом говорили и говорят и в школе и дома. Говорили о том, что шахтерские династии... и что почетный труд. А главное, какие другие возможны варианты?...

Я видел и знал — все мужики в городе (ну, почти все) пьют. Пьют сильно, безрадостно и постоянно. И город копошится, копошится... Некрасивый город, от которого красоты и удобства не ждут ни его жители, ни приезжие.

А там под землей все оказалось иначе. Там обнаружилась культура того самого дела, которое в целом называется «шахта», там чувствовалась традиция, основательность и строгость. И люди, которые

наверху копошились и копошились в своем городе, как в каком-то ветхом и темном сарае, там под землей, были собранными, сосредоточенными, немногословными и, безусловно, профессиональными. В них было содержание, гордость, и даже азарт.

То есть, я к тому, что мне понравилось в шахте. И если совсем коротко, то шахта оказалась лучше, чем город. Правда, может быть, в шахте такой четкий порядок потому, что если бы его не было, все бы рухнуло?... Все таки подземные пласты, глубины, выбросы газа и так далее. А в городе можно как-то так...

У нас в школе, в кабинете географии висело изображение планеты Земля в разрезе. Там были нарисованы разные слои, и в центре красовалось огненно-красное ядро. Меня слегка пугало именно это ядро, но все-таки изображенная в разрезе Земля в моих ощущениях практически совсем не имела никакого отношения к городу, в котором я живу, и к его окрестностям. Потому что в городе и окрестностях все было видно, понятно и просто.

Глобус и карта двух полушарий земли были как-то роднее. Но только не политическая карта, где все страны разноцветные, а нормальная карта, на которой горы коричневые, низины зеленые, а моря, там, где глубже, темно-синие, где более мелко — голубые. На той карте Сибирь вся зеленая и там можно хоть и не сразу, но без особого труда найти нашу реку и наш город. Когда я читал название нашего города на карте мира и, особенно, на глобусе, мне было так приятно, как будто на этой карте и на земном шаре написали что-то лично про меня.

Карта мира изобиловала даже не морями и океанами, материками и полюсами, какими-то островами и полуостровами, очертания которых были не выразительны. (Разве что Италия бросалась в глаза и вызывала радость узнавания.) Карта изобиловала названиями, которые никак не укладывались в голове и ни с чем не ассоциировались. Смех и веселье конечно производили Бабельмандебский пролив, озеро Тити-Кака, страна Гондурас и река Миссисипи, которую так и подмывало назвать... сами понимаете как. Урок географии был, наверное самым абстрактным занятием, каким вообще приходилось заниматься в школе. Что-то конкретное и имеющее отношение ко мне и тому, что для меня важно, было в том, что учительница сообщила, что Солнце, как звезда, постоянно остывает, на нем уже есть пятна и через какое-то немислимое

количество лет солнце остынет и на Земле жизнь исчезнет. Эта информация страшно напугала. И не важно было, что это произойдет через 10 или 1000 миллионов лет. Я-то тогда чувствовал, что я навсегда.

И даже теперь я понимаю и уверен, что если бы человечеству дать такую информацию, причем, точную и убедительную информацию, что через 75 миллионов лет и даже через 175 миллионов лет жизнь на земле прекратится, причем, не по причинам человеческого фактора или глобального потепления, а по космическим причинам, на которые повлиять нельзя, и еще было бы известно, что у человечества не будет шансов за все эти миллионы лет переселиться на другую планету, или вообще, просто улизнуть в космос, и жить на космических станциях. Или спрятаться под землей... И даже никакого варианта ковчега в виде космического корабля, хотя бы для нескольких человеческих особей, не будет. Вот такой общий конец для всех. Неминуемый. Уверен, что даже немыслимое количество лет при перспективе обязательного конца не успокоило бы. Человечество тут же перестало бы что-то изобретать, вкладывать деньги во что-то и строить серьезные архитектурные произведения.

Как же это чувствуется в Сибири. Особенно в малых и не очень малых промышленных городах. И дело даже не в том, что сначала находили уголь, газ, руду или нефть, а потом как-то более или менее осмысленно, а иногда и вовсе бессмысленно строили какое-то жилье, поселок, город, появление и жизнь которого была оправдана, связана и направлена только на существование скважины, разреза, рудника или трубопровода...

Ничего в Сибири не строилось и не строится основательно. Где могучие, амбициозные, красивые или хотя бы безобразные, но обязательно амбициозные здания? Купеческие деревянные особняки, скромные церквушки или руины острогов не в счет. Гигантские здания Новосибирского железнодорожного вокзала или оперного театра потому и поражают, что своими исключительными размерами намекают на общее правило. В Сибири нет дворцов, их не строили ни давно, ни недавно, не строят и теперь.

Как много, как много людей жили и живут в Сибири временно, хотя рождаются, проживают всю жизнь и умирают там, где родились, то есть в Сибири. И живут с ощущением, что они в Сибири не навсегда, в смысле, не на всю жизнь. Это чувство, не осмысленное и непроговоренное, не давало, и не дает сибиряку сил, вместо тесной и бревенчатой пятистенки и кривого забора, построить себе более

или менее просторный и светлый дом, и обустроить усадьбу, проложить хорошую дорогу, навести порядок на поселковом или городском кладбище, и присмотреть себе хорошее и сухое место под какой-нибудь березкой, место для своей могилки. Этакое семейное место.

Нет-нет, он будет монотонно трудиться в суровых условиях. Жить, как говорится, «не хуже людей». С трудом и даже отчаянно напрягаясь, заработает денег долгой сибирской зимой. А потом отъедет из Сибири на две-три недели куда-нибудь в Сочи, Крым или еще дальше, и спустит все, что так медленно зарабатывал. Потратит щедро, бессмысленно и быстро, оставляя ничем не оправданные чаевые за фальшивое южное гостеприимство, за кислое вино, плохие шашлыки и пошлую музыку, исполненную циничными кабацкими музыкантами. Сибиряк будет демонстрировать широту сибирского характера, сорить деньгами, что-то громко говорить про честь, доброту, справедливость... И за все это, но прежде всего за щедрость, его тут же между собой назовут дураком. Назовут все те южные официанты, музыканты, девки и таксисты, которым пьяненький сибиряк только что совал деньги, благодарил и называл друзьями и братьями.

А потом, потратив все, что копил к летнему отдыху, и, истратив все выделенные на отдых летние дни, будет сидеть возле здания какого-нибудь аэропорта какого-то южного города, будет сидеть один под каким-нибудь кипарисом, ждать своего рейса, молча курить, смотреть прямо перед собой, и поплевывать в южную горячую пыль. А его жена и дети будут сидеть в душном аэропорту, будут сидеть и тоже молчать...

А я однажды понял, на что похожи аэропорты сибирских городов, я понял это, когда летел над Сибирью и не мог уснуть. Я смотрел в иллюминатор, а там была тьма и звезды. То есть, звезды и луна были сверху и чуть сбоку, а внизу была тьма. И только редко, редко кучкой огоньков и вытянутыми гирляндами улиц под нами возникал городок, а потом снова и долго тьма, тьма, тьма и снова тьма. А потом мы прилетели, и было издалека видно одну узенькую взлетно-посадочную полосу, здание аэропорта, небольшую, освещенную прожекторами площадь перед аэропортом, три самолета на этой площади и красными буквами название города на крыше аэропорта. Это был крохотный, светящийся островок, а дальше

снова тьма и пятно из электрических огней самого города, куда мы, собственно, летели.

Все эти аэропорты, в основном, одинаковые типовые здания. И их взлетные полосы, которые принимают и отправляют всего несколько рейсов в день, и три-четыре самолета, которые стоят возле здания на площади... Все это, все эти аэропорты сильно похожи на деревянные мостки на темной сибирской реке. Мостки, к которым привязано несколько лодок. Коротенькие и шаткие мостки, уходящие от берега всего на три-четыре метра.

А ниточка транссибирской магистрали тянется мерцая огоньками, как фарватер глубокой и мощной реки, и в ясную ночь пролетая над Сибирью можно видеть эти огоньки... А по бокам темнота.

Но нигде, ни в каком, даже, казалось бы, самом тихом месте, в отдалении от отдаленных покосов, какой-нибудь отдаленной сибирской деревни, нигде невозможно почувствовать себя просто человеком в каком-то просто природно-географическом пространстве. Все время чувствуется страна, определенная страна, наша страна. И даже если не видеть ничего и никого, идти через поле, без дороги, не иметь при себе никакого средства связи, и вокруг не слышать людей... И нет домов, и даже ни один телеграфный столб, с табличкой на русском языке, или линия электропередачи не нарушает естественности пейзажа и нет в небе белой полосы от самолета, который намекал бы на век и время... Все равно, если ты идешь по этому полю, то это уже не Канада, и даже не Аляска... В том, как ты идешь, уже чувствуется и видна наша страна.

В свое последнее лето, которое я прожил, будучи в школьном возрасте, то есть, в свои последние в жизни школьные каникулы, в конце июля, я оказался в мужской компании в очень безлюдном месте. Просто у каких-то моих дальних родственников был дом в деревне, погода была хорошая, и я, с несколькими своими троюродными братьями и другими молодыми людьми, с которыми родственные связи были еще тоньше и пунктирнее, оказался в этой деревне, на отдыхе. Деревня стоит на реке. И вот мы, все молодые и веселые, а я был младшим в этой компании... мы взяли две моторные лодки и двинулись еще ниже по реке.

— Там будет такое место, — сказал мне парень, степень родства

с которым мне была неизвестна — можно купаться будет вообще без трусов. Там никого не бывает. Там не ступала нога человека.

Мы долго плыли на трескучих моторках и действительно не видели никаких признаков человеческой жизнедеятельности. Мы плыли и попали под дождь. Я в первый раз в жизни видел дождь на реке в тот момент, когда я сам на середине реки. Дождь мощный, крупный, отвесный и теплый. Такой, совершенно июльский дождь. Его было видно издалека. Он стоял стеной, под ним река рябила пятнами и была матово-серая. А там, куда дождь еще не дошел, она была блестяще-свинцовая. Мы быстро приблизились к дождю, въехали в него, и тут же вымокли. Мы мчались через дождь и вскоре увидели, где он заканчивался, потом мы вылетели из дождя, на нас рухнуло солнце, и дождь остался позади... Поразительно!

Мы приплыли к повороту реки, где был отличный пляж и берег был не крутой, к реке спускался луг, и в сочном травостое было столько звуков, сока и красок... Мы разделись догола и купались в нашей теплой, ненадолго прогретой реке. Я не люблю купаться в нашей реке, но тут было абсолютно другое ощущение. Нетронутое место, хорошая компания, и никого вокруг... Свобода! Мы плескались и орали, и были голые...

Потом мы загорали на берегу на теплых камнях, потом нас снова накрыло дождем, который тут же кончился, трава заблестела, от жары и влаги запарило, и стало еще жарче.

И вдруг я увидел, как что-то блеснуло на лужайке, которая спускалась к реке, блеснуло в траве метрах в пятидесяти от нас. Я поприглядывался, постарался изменить угол зрения, чтобы вновь увидеть источник блеска... И вот, снова солнышко отразилось, в чем-то, и сверкание вновь ослепило меня. Это был яркий и очень чистый блеск. Блеск бриллиантов из прочитанных мною книг. Я пошел туда. Я шел голый, босой через мокрую, сочную траву. Мои городские нежные пятки были недовольны, я с опаской делал каждый шаг, но при этом было так приятно, что можно просто так и как угодно ходить совершенно голым. Я шел, шел и подошел к бревну, которое лежало в высокой траве, и было незаметно издалека. На бревне стояла стеклянная полутора или двухлитровая банка. Банка была наполовину полна дождевой водой, и в этой воде плавало несколько мертвых мух. Сверкала эта самая банка.

Я тут же руками прикрыл то, что обязательно прикрывает голый мужчина в ситуации, когда он обнаруживает, что на него смотрят. Причем, у меня получилось быстрое, машинальное и точное

движение. Я прикрывался, как только увидел эту банку. То есть, как только я увидел эту обычную и такую простую вещь, которая простояла там, на бревне, видимо, довольно долго, сразу исчезла радость нашего робинзонского приключения, романтики и свободы. Тут же появилось желание немедленно натянуть плавки и возникло ощущение мощного присутствия... Не наблюдателя, нет! Ощущения присутствия нашей страны и нашего времени. Нужно было прикрываться.

А дед рассказывал, что первые трусы у него появились, когда ему было уже лет десять. А купались они без трусов, даже когда эти самые трусы появились. Они купались в речке, а по речке плавал пароходик. Американцы привезли по железной дороге, привезли по частям, а потом собрали маленький белый пароходик. Дед описывал его подробно. Пароход был колесный, с двумя черными трубами, все медные части на нем блестели, пароход давал бархатистый такой, как дед говорил, баритональный гудок. Дед знал, что говорил, потому что с четырнадцати лет и до того, как ему пришлось уехать из города, чтобы поступить в университет, он играл на тубе в городском молодежном духовом оркестре. У меня есть фотография этого оркестра. Двадцать два молодых парня и руководитель. Все сидят, держа свои инструменты, улыбаются. Многие одеты в куртки-пиджаки с накладными карманами и на молнии. Под этими куртками светлые рубашки, и у некоторых галстуки — шнурки. У многих значки спортивных разрядов, знаки «Ворошиловский стрелок» или «Парашютист».

— Вот этот вот, — говорил дед и показывал на парня, который шире всех улыбался, держал в руках альт, и у него одного на голове была тубитейка. — Это Грязька, так его звали. Фамилия Грязнов, вот и Грязька. Такой смешной был парень. Мог пукнуть на спор хоть сто раз. Вот сколько хочешь, столько и пукнет. Говорил: «Возьми-ка меня за палец» — протягивал указательный палец правой руки. Ну я брал, а он: «Теперь дергай!». И сколько раз я дергал, столько раз он пукал. Погиб. В самом начале войны. Из всех остались только я и вот, Богомолов.

На обратной стороне фотографии есть список: название инструмента и через черточку фамилия.

Пароходик был единственным самодвижущимся плавсредством тогда на всей реке. Дед говорил, что его очень любили, а люди,

которые работали на нем, были всеми почитаемы. Капитан-американец был почти полубогом, два матроса и машинисты были просто героями, а юнга... Ему просто завидовали. Завидовали его форменному бушлату, брюкам и ботинкам, завидовали настоящей тельняшке и фуражке с золотым якорьком. Завидовали так... что при возможности обязательно били его. К тому же он был из другого города...

А чем были для меня другие города в то время, когда мой город был не изведен и огромен? Другие города, то есть те, в которых я не был и не должен был побывать? Этих городов как бы и не было вовсе. Их названия возникали в жизни только в связи с тем, что папа уезжал туда в командировки, и я с нетерпением ждал его, потому что папа всегда из командировки привозил подарок. Другие города звучали в новостях по телевизору и в прогнозе погоды в конце этих новостей...

Еще другие города были на светящейся панели большого радио, которое стояло в спальне у деда. Радио было большое-большое, с деревянными стенками. Оно было красивое, солидное, и... старое. Старое даже тогда, когда я маленький рассматривал его. Его приятно было включать. Я поворачивал ручку, раздавался такой мягкий щелчок, и загоралась зеленая лампочка, а с секундным опозданием, медовым светом зажигалась панель.

Приятнее всего было включить радио и тут же выключить в комнате свет. Тогда радио становилось совсем красивым и таинственным. Я крутил ручку настройки, стоя возле радио на коленях. Красная палочка ползала по шкале взад и вперед. На шкале были написаны названия городов! Рига, Минск, Киев, Берлин, Варшава, Хельсинки... и даже Мехико. Между этими городами были только треск, шипение и свист. Эти звуки, оказывается, так похожи на треск дров в камине и завывание ветра в трубе. Те радио стоили очень дорого и были не у всех, теперь камин в хороших домах, в известной степени, выполняют ту же функцию. Тоже светятся, тоже трещат, шипят и завывают...

А теперь, когда я лечу в самолете из города в город или даже из страны в страну. Или лежу на полке в вагоне поезда, который мчится в ночи из одного пункта в другой, мне кажется... Мне кажется, что я даже вижу мальчика, который стоит на коленях возле того

старого радио, крутит ручку, и я перемещаюсь в пространстве.

Отчего, когда я вспоминаю про деда и тот белый парходик, который я даже никогда не видел, когда думаю про то радио... Особенно, если немного выпью и так случится, что стану про это все рассказывать... Отчего мне хочется плакать. А если выпью не немного, то я плачу. Почему? Мне что в этот момент становится жалко парходик? Жалко его за то, что он был один, что он гудел, а теперь его нет? Или жалко деда за то, что он завидовал маленькому юнге и наверняка хотел быть на его месте? Или мне жалко себя за то, что я этого ничего не видел? Почему так грустно думать про то радио? Я не понимаю почему. Мне ничего этого не жаль. Но я плачу.

Когда я стою над могилой моего деда, это случается редко, в мои редкие и нерегулярные визиты в родные края... Я стою и изо всех сил пытаюсь сказать что-то деду, что-то почувствовать в связи с тем, что я стою у его могилы. Но этот монолог не получается. Он выходит похожим на какую-то неумелую попытку говорить что-то кому-то, стоя в церкви, потому что в церкви нужно что-то искренне говорить, обращаясь к ... к тому, кому следует обращаться в церкви. А если я у могилы, значит нужно пытаться говорить с тем, кто лежит там. Но могила и памятник на ней совсем не соединяются у меня с моим дедом, с парходиком, с фотографиями и рассказами... Я стою, пытаюсь что-то понять и почувствовать, но ничего не понимаю и не чувствую, что именно нужно понять.

Я знаю в своем городе все. И какие бы новые здания в нем не появились, и как бы не менялся внешний его облик, как бы не улучшалось или ухудшалось в нем чье-то благосостояние, я знаю другое, я знаю его константу. И все, кто в нем родился, вырос, и что-то пережил, знает это. Но как произошло отмирание? Как ощущение этой константы, как живой и собственной, стало просто знанием.

Из чего состоит теперь мой мир, где территории любви и не любви, где теперь для меня тайны и страхи. И еще, до каких пределов распространяются мои собственные границы, где заканчивается живая, необходимая и ощущаемая мною, как моя... моя география. И где начинается география атласов, глобусов, туристических агентств и авиакасс. Каковы просторы, которые я могу покрыть и пронзить своими чувствами, своей любовью, не любовью, и пониманием, что эта территория мне необходима. И какое место во всем этом

занимает мой город, моя родная земля, и Сибирь в целом. Сибирь, откуда я уехал. Я же знаю, что на той улице, в том доме, в той квартире, где жил и что-то переживал я, теперь живет какой-то другой человек. И мне не жалко... Чего же тогда я?... Почему я вспоминаю про радио, которое на самом деле не работало. Оно, конечно, светило, на нем были названия городов, и оно было красивое, но оно не работало, как радио, зачем я вспоминаю о нем и пытаюсь найти ему место в своей прожитой части жизни, жизни, которая уже там... там, где в ней уже ничего нельзя изменить... ни убавить, ни прибавить.

А то радио, которое я много слушал, тот радиоприемник, я не могу вспомнить. Не припомню, как он назывался. Помню, у него была антенна и три кнопки сверху. Я слушал его много-много, но я слушал не радиоприемник, а то, что из него доносилось. Поэтому я и не запомнил сам радиоприемник, который особенно любил слушать, когда болел.

Болезнь... странное дело... Болезнь? Это странное состояние и занятие. Она происходит где-то внутри. Внутри организма, где-то в моих собственных недрах. И кажется даже, что она не имеет ко мне никакого отношения, как погода или время года. Когда-то я даже не чувствовал сам, что болезнь уже пришла и присутствует во мне... Я сидел, играл своими игрушками или еще что-то делал, но, может быть, как-то вяло, может быть, не хотел есть. Тогда мама могла сказать: «Что-то он какой-то вялый, или мне кажется?» Потом она прикладывала ладонь к моему лбу, потом просила тоже самое сделать отца или еще кого-то.

— У-у-у! Да у него температура, — говорил кто-то.

Меня обступали, что-то все сразу начинали обсуждать... И начиналась болезнь с компрессами, обтираниями, холодным фонендоскопом, который доктор прикладывал к моим груди и спине, с ложкой во рту, которая больно давила на язык, и с недолгой прохладой подушки, после того, как её взбивали. Та болезнь даже не мучила какими-то болезненными ощущениями, она просто утомляла лежанием в постели, ограничениями и отсутствием сил и желаний.

Потом, когда я стал постарше, болезнь приходила, как дополнительные школьные каникулы. Правда, бывало действительно худо. Так худо, что невозможно было ни читать книжку, ни смотреть

телевизор. Когда лежишь неподвижно и чувствуешь то, что всему твоему организму скучно и тошно жить. А руки и ноги лежат неподвижно и как-то далеко. Голова затылком продавila подушку, и только глаза медленно поворачиваются и моргают. Движения глаз болезненны и медленны, как движения механизмов, которые лишены смазки, или в смазку добавили песку.

Вот так можно было лежать, дышать сквозь пересохшие губы и ворочать глазами, рассматривая складки штор, царапинки на дверце шкафа или просто потолок. А на беленом потолке можно было обнаружить странное сочетание маленьких бугорков, каких-то шишечек, точек, трещинок и теней, которые удивительным образом складывались в какое-то лицо или морду животного. И один раз увиденное такое лицо уже не исчезало, его можно было вновь найти, когда угодно. Или можно было рассматривать обои и считать ни них какие-то повторяющиеся элементы орнамента. А еще можно было слушать радио.

Какой-нибудь тягучий и бесконечный радиоспектакль, по какому-нибудь тягучему английскому детективу. Было приятно слушать голоса неведомых старых актеров, которым явно нравилось играть в английских аристократов, то есть, говорить максимально бархатисто, медленно, витиевато интонировать, и через слово говорить: «Сэ-э-эр». Как это было сладко слушать все те английские имена, названия городов и улиц, автомобилей и напитков, фруктов и... ну например: «Уже пятнадцать тридцать по Гринвичу».

Тогда в горящем от высокой температуры мозгу звучали какие-то фантазии. По потолку ползли тени. В комнату через окно втекал ранний зимний вечер, и жизнь и болезнь казались бесконечными, как весь мир. Мир, состоящий из истории, книг, кино, радио. Он казался бесконечным, но постижимым. Тогда казалось, что вот я чего-то не расслышал в радиоспектакле... Ничего! В следующий раз расслышу. Чего-то я не понял в какой-то книжке? Не беда! Перечитаю и пойму. Что-то не прочувствовал в тот или иной момент? Ерунда! Потом разберусь. Мир и время не тревожили, не беспокоили и не пугали. Даже моя болезнь пугала не меня, а моих родителей.

Старики с палочками, старухи, медленно переходящие улицу, казались людьми такой вот старческой национальности или расы, и они никакой связи не имели ни с моей жизнью, ни с моими перспективами. А мой дед, он не был для меня ни старым, ни молодым, он был просто дед, и в этом было что-то постоянное и неменяющееся.

Больные и увечные люди, которых я видел на улице, дурачки или горбатые, удивляли и немного будоражили воображение теми фантазиями, которые возникали в связи с увиденным. Но для чего существуют больницы, для чего они построены?... Я, конечно, знал, что там лечат людей. Я видел эти большие здания, слышал названия: «Первая городская больница» или «десятая медсанчасть»... Но они тоже были из другой, чужой и абсолютно неинтересной жизни. Жизни, которая не может меня коснуться.

Правда, когда я сломал руку, учась в классе шестом, я испытал боль и удивление. Я удивился тому, что такое дело, как перелом, может случиться со мной. И еще я все-таки думал, что сломать руку — это должно быть больнее. А оказалось больно, но... просто очень больно. Зато какой успех у меня был, когда я пришел с загипсованной рукой в школу. Вот это был триумф, вот это было событие для всего класса! Я впервые увидел и поймал на себе любопытные взгляды старшеклассников. Я выделился из толпы, меня заметили. Все время, пока я носил гипс, я охотился за взглядами людей на улице или в автобусе. И если ловил таковые, делал серьезное и умное лицо.

Где, интересно мне... Интересно давно... Где, интересно, кончается понятный мне мой организм, который любит спать в такой-то позе и на таком-то матрасе, и не любит большие подушки. Организм, со всеми привычками и пристрастиями. Тело, которое устает, и я понимаю признаки этой усталости. Туловище, которому бывает жарко или холодно, и я знаю, что нужно в таком случае делать. Мое тело, которое ведет себя определенным образом, когда я в это тело наливаю алкоголя... Я приблизительно знаю, сколько мы с моими органами можем пробежать, проплыть, подтянуться, поднять, не дышать под водой и прочее. Вот где заканчивается этот знакомый мне мой организм и начинается организм из анатомических справочников? Организм, который слушают, фотографируют рентгенаппаратами, изучают и оперируют врачи. Тот организм, который мне страшен, неведом и только и делает, что грозит мне смертью.

И почему, если я родился и вырос в Сибири, почему этот организм, так и не смог привыкнуть к долгой и суровой зиме, тяжелой зимней одежде и подштанникам, как к обидной, но необходимой детали в морозный и ветреный сибирский день.

И еще, любопытно, если бы я сам был бы хирургом, а перед тем, как стать хирургом, долго учился бы медицине, и знал бы не только латинские названия всех органов, деталей и деталечек собственного тела и других человеческих тел... Любопытно, дало бы мне это знание какое-то иное понимание жизни, и что это было бы за понимание.

Я этого не узнаю и не пойму. Но при всем при том, я уже научился не особенно по этому поводу переживать.

Ясно же, что ту книжку, которую я когда-то прочел, не понял, и собирался перечитать, теперь уже не перечитаю, и даже не потому, что не будет на это времени, а потому что не смогу вспомнить, что же я там не понял. И что-то недодуманное когда-то, недочувствованное так и останется там.

Там, где я стоял после того, как сдал последний экзамен... Тогда, когда закончилась для меня сдача выпускных школьных экзаменов. Последним экзаменом была физика, которую я знал плохо, учил отвлеченно и запоминал только звучные имена каких-то ученых вроде Резерфорда, Марии Кюри или Вольта с Ампером.

Закончились экзамены, закончилась школа. Я что-то чувствовал, что трепетало и рвалось внутри. Но гораздо проще и приятнее было бегать с одноклассниками, орать и пинать учебник физики. Мы орали, бегали и пинали учебник по школьному двору. Потом я схватил учебник, подбросил его и так удачно пнул, что он залетел на козырек над входом в школу.

Когда мы прощались с одноклассниками, вдруг в первый раз кольнуло что-то. Кольнуло то, что нельзя было сказать «до завтра». Мы пошли со двора, а я вспомнил, что оставил портфель в кабинете физики, я вернулся в опустевшую школу, перескакивая через две ступеньки, забежал на третий этаж по лестнице, на которую даже не нужно было смотреть, когда по ней бежишь, она была слишком знакома.

На третьем этаже школы было пусто. Я забежал в кабинет физики, там тоже никого не было. Портфель валялся под моей партой. Стулья в классе стояли, как попало, на доске были написаны какие-то формулы, их написал или написала тот или та, кто последним сдавал экзамен. Окно возле учительского стола было открыто. Я взял тряпку, стер формулы и написал: «Свобода! Ура!» Пока я это делал, за окном зашумел дождь.

Листва большого дерева, которое стояло под окном кабинета физики, зашумела. Конец июня, было тепло и даже жарко, листья и трава были уже большие и темные. Я подошел к окну и стал смотреть

на дерево, на которое так много часов я смотрел, тоскуя во время уроков. Я почувствовал разницу в том, как в тот момент смотрел на него, и как я смотрел во время уроков. Но разницу-то я почувствовал, а в чем она — нет.

Я стоял, смотрел то за окно на дождь, то осматривал класс. Я видел портреты ученых, парты, стулья, свою парту. Я видел и знал это помещение при любом освещении, знал наизусть, но так, как в тот момент я его прежде не видел.

На подоконник стало капать... На подоконнике лежала большая мертвая черная муха. Почему-то я запомнил и её. Я стоял, видел все это, мне было хорошо. Не весело и не печально. Было хорошо. Но я чувствовал, что мне так, как не было раньше. И я даже почувствовал, что если постою так еще немного, то что-то пойму, что-то существенное... Но на подоконник закапало сильнее, я забрался на него и закрыл окно, потом взял портфель и вышел из класса.

А теперь-то я знаю, что не пойму того, что тогда мог понять. Но это не значит, что я тогда не понял чего-то очень важного или судьбоносного, нет.

Мне даже кажется, что я знаю, что я тогда мог понять, и что-то подобное я обязательно уже понял, и живу с этим. Просто, тогда я мог понять то, чего не понял с какими-то нюансами. А теперь все! Уже все! И так со всем. Даже с теми книжками Достоевского, которые я, может быть, читал по школьной программе слишком рано. Они меня мучили, мне от них было неуютно жить... Я читал эти книги и потом... И снова они мучили и мешали жить, но по-другому, иначе... Не так просто, как в школе.

Помню, когда читал «Преступление и наказание» в девятом классе. Мучился страшно. Меня утомляло то, что Раскольников все время страдал от жары. Достоевский постоянно напоминал, что там, в романе, жарко, душно, плохо. А я почему-то все время чувствовал, что там холодно. Просто холод был мне более знаком, как что-то утомительное и угнетающее. Все-таки я читал тогда книгу в Сибири.

А чего я недоощутил при первом своем знакомстве с великой музыкой или живописью? Как мне теперь ее увидеть или услышать в первый раз. Этого уже не сделать. Мне уже не выбраться из-под тяжести первых ощущений.

С самого первого знакомства с великой музыкой и великой живописью мне было ясно заявлено и недвусмысленно подчеркнуто, что

я во всем этом ничего не пойму и все это сделано не для меня. Картины великих живописцев... где я мог их видеть? Только в музеях и картинных галереях, то есть, не у себя в городе.

Когда с родителями я бывал в тех городах, где были музей, тогда меня таскали туда против моей воли. Я уже говорил об этом. Те залы, в которых стояли скамейки, были хорошими залами. Я усаживался на скамейку, рассматривал какую-нибудь картину и даже прислушивался к тому, что говорила экскурсовод. Еще я мог видеть картины по телевизору, когда в какие-нибудь каникулы нечего было делать, а других интересных передач по остальным программам не было. Или когда болел. И голоса экскурсоводов и те голоса, что звучали из телевизора, самими своими интонациями намекали мне, что я случайно столкнулся с прекрасным, и все равно ничего не пойму.

Мне нравилась картина «Девятый вал». Я видел огромную волну, прозрачную зеленую массу воды и обломки какой-то мачты, за которую цеплялись люди. Мне было интересно смотреть на это, а еще мне было интересно, что же случилось с кораблем, а самое главное, что будет дальше с несчастными людьми, спасутся ли они. Папа коротко отвечал, что конечно спасутся, но в ситуации с великим искусством он не был для меня достаточным авторитетом.. Папа отвечал мне обычным голосом, в его голосе не было той приобщенности к тайне холста, на котором красками нарисовали что-то... и засветился свет, и задвигались волны, и начали гибнуть люди. Но экскурсовод говорил только о том, как удивительно передана стихия, и как, несмотря на неясность эпохи и места изображенной трагедии, картина производит впечатление и т. п.

Еще мне нравилась картина «Дети, бегущие от грозы». Детей мне было еще жальче. Наверное потому, что они были дети. Там девочка несла маленького мальчика на спине. Дети испуганно оглядывались, видимо смотрели на надвигающуюся тучу. Наверное, они слышали гром. Но дети не бросили корзинку с грибами, за которыми ходили в лес.

Я видел, что нарисовано, и видел это ясно, и мне это было интересно, это беспокоило меня. Но экскурсовод объясняла, что художник хотел выразить совсем другое, он намекал своей картиной на то положение вещей, которое... Экскурсовод как бы сообщала, что просто так картины видеть и любоваться ими нельзя, это серьезная работа, и нужно быть очень внимательным и сосредоточенным, и тогда можно будет хоть что-то понять в том, что хотел сказать

художник. Об удовольствии от просмотра картин речи не было, наоборот, интонация экскурсовода намекала на скорее трагические переживания, которые когда-то терзали мастера, а теперь терзают экскурсовода. И должны терзать зрителей.

В передачах про художников всегда звучала такая музыка и такие голоса профессоров, директоров музеев или пожилых актеров, что благоговение завораживало меня. И все эти передачи, и то, что говорилось, было в основном о том, что на картинах не видно или неочевидно. И из всех моих посещений музеев и просмотра таких передач, я вынес одно серьезное понимание того, что художники были совсем другие люди, жившие в далеком и отдельном от меня времени и мире. Их интересовали такие сложные жизненные процессы, и они так ловко зашифровывали в своих картинах какие-то глобального масштаба переживания и послания. Я смотрел на портреты художников, слушал эпизоды их биографий полных страданий, болезней, смертей родных и близких, слушал о потрясениях и открытиях, о лишениях и моментах драматических выборов между честью и славой... Я слушал и понимал, что не мог быть интересен всем этим художникам, ни если бы жил тогда, ни сейчас. Моя жизнь не могла быть интересна таким людям, как те мастера.

Я смотрел на картины русских художников, я видел мою страну, но то, что я видел, было мне не знакомо. Я не знал таких ярмарок, какие там были изображены, не видел ни старинных теремов, ни подмосковных дач, утопающих в кустах сирени. Мне неведомы были просторы, состоящие сплошь из лугов и желтых щедрых полей. Крестьяне в белых полотняных рубахах, широких штанах и лаптях, которые там в этих полях, на этих картинах жили и трудились, были совсем не похожи на жителей окрестных и известных мне деревень. Ни из одного окна в моем городе нельзя было увидеть спокойно текущую реку, в которой бы ночью так ярко отражалась луна, а днем в этой же реке отражалась бы маленькая белая церковь. В Сибири не было пейзажей с белыми церквями... и тихих рек с заводами, кувшинками и ветхими мостиками тоже не было.

И даже «Три богатыря» остановившие своих коней просто в каком-то поле... Было ясно, что это они не в Сибири остановили своих коней... И мишки в лесу, в смысле, «Утро в сосновом бору» — это тоже очевидно не мои родные края.

Я не знал такого неба, как на тех полотнах, такого щедрого лета с фруктами и цветами, такой пышной осени с желтыми стогами, мощными колосьями, и в багрец и золото одетыми лесами.

Я знал короткое знойное лето, когда во всем, что растет и зеленеет, чувствуется спешка и суета. Жуки и стрекозы летают в Сибири быстрее и выше, мухи увертливы, надоедливы и кусучи, а комары велики, слегка мохнаты и ненасытны. Все спешит вылупиться, распуститься, пошевелиться, пожить... Из-за этого трава в перелесках сочная, хрупкая, и даже одуванчики, которые вырастают в тени деревьев, выпускают длинные и толстые трубки своих скромных, но таких обязательных цветков. Все спешит, потому что знает, что, как только подойдет и наступит август, лето сломается первым холодным ночным дождем и все...

Отголоски какого-то другого, долгого и богатого лета приезжали в нам в город откуда-то из Средней Азии. Вкрадчивые восточные люди раскладывали на рынке арбузы и дыни, абрикосы и помидоры, налитые нездешним соком и солнцем, и покрытые не местной, светлой пылью.

Какое же высокое, белесое и незащитное небо бывает над моим городом в жаркий летний день. Я не видел такого неба на картинах. А наша река?..

Когда же я бывал на концертах нашего городского симфонического оркестра... нашу школу приводили в городскую филармонию на специальные концерты для школьников, я чувствовал ту муку, которую испытывали все участники такого концерта. Страдали и музыканты и мы. Мы мучили музыкантов, а они нас. Музыки во всем этом не было. Когда женщина в длинном платье выходила на сцену и объявляла имя и фамилию композитора, а потом название того, что этот композитор написал, а оркестр будет сейчас исполнять.... В общем, когда я слышал что-нибудь вроде: «Сюита ре минор в трех частях: аллегро, адажио, престо» — мне тут же все это напоминало урок химии, где постоянно звучали названия химических элементов и их соединений.

Голос той женщины, ее платье, и сами слова, которые она произносила, были тоже из какого-то очень специального мира. Этот мир не состоял из улиц моего города, домов, автобусных, трамвайных маршрутов и продовольственных магазинов. Музыканты в своих черных одеяниях, белых рубашках, бабочках и со своими

инструментами казались пришедшими прямо из музеев, картинных галерей или библиотек, где они и должны были жить. Как могли симфонические музыканты жить просто среди нас...

Я понял то, как недостижимы были для меня те музыканты только недавно. Просто недавно я познакомился с одним скрипачом из очень хорошего оркестра. Я видел его во время концерта, и слышал его скрипку, а потом, как-то так случилось, что мы оказались в одном кафе. Он был в свитере и коричневых брюках, скрипка была при нем в современном чехле на молнии. Мы как-то разговорились с ним, выпили по пиву, он рассказал довольно легкой анекдот... Но главное то, что он, как случайно выяснилось, оказался младше меня. То, что симфонический музыкант может быть младше меня, поразило меня так, как я даже не ожидал.

У моего деда был старый проигрыватель и до тех пор, пока папа не купил мне уже мой проигрыватель, я слушал музыку у деда. Пластинки, которых было много, в основном мне не нравились. Вальсы и романсы совсем не интересовали меня. Песни из кинофильмов?... Некоторые я слушал, но только некоторые. Не помню, чтобы дед любил и собирал классическую музыку. Он и не слушал ее. Иногда он ставил пластинки какого-то отечественного древнего джаза. Но чтобы классику?... Нет... Но я нашел среди его пластинок очень красиво оформленный конверт с зимним пейзажем на нем. Антонио Вивальди «Времена года», прочел я. Пластинка была новехонькая...

Может быть оттого, что я сам нашел эту пластинку, никто не порекомендовал ее мне, и я ничего про то, что это будет за музыка, не знал... Может быть поэтому мне с первых же звуков стало неважно, где и когда сочинена эта музыка. Тогда я впервые услышал музыку...

И еще, там, на конверте той пластинки, были написаны названия музыкальных частей самого произведения. Понятно, что это были Зима, Весна, Лето, Осень, это же были «Времена года». Но у каждого времени года были еще более мелкие части, и назывались они, например, «Гроза». Так вот, среди этих мелких частей была одна под названием «Спящие пьяные». А каких и где я мог видеть спящих пьяных в своем городе? Я мог их видеть в городском парке, летом. Они лежали в кустах за скамейками. Некоторые лежали неподвижно, некоторые издавали звуки и шевелились, как умирающие майские жуки. Я видел спящих пьяных возле вокзала или вообще в каких-то неожиданных местах. Музыка, озаглавленная таким

странным названием была нежная и умиротворяющая... И я не почувствовал в той музыке противоречия со своей жизнью и тем, что я знаю о жизни. Из-за ее звучания, и из-за того, как она отозвалась во мне, я стал лучше и добрее к спящим в нашем парке пьяным.

И все равно картины, и те пейзажи давних русских художников, на которых было все то, что в действительности меня не окружало, все равно были не чужими, а то, что там было, (ну, как сказать?) изображено или нарисовано, все равно было родным. Вот только почему?

И почему даже картина «Гибель Помпеи», а главное, люди, гибнущие там, и сам город, и беда, которая происходит там, на холсте, беспокоили меня и вызывали более сильное сочувствие, чем другие картины? Может быть, оттого, что я знал, что эту картину нарисовал русский человек, и из-за этого несчастные, гибнущие люди, гибнущие черт знает где, в какой-то Помпее, и чёрти когда, кажутся более своими, чем сотни мучимых грешников, которых я видел на картинах, изображающих ад, где этих грешников жгут и колют, терзают и мучают хвостатые черти. Может просто потому, что тех грешников нарисовал какой-нибудь голландец или немец? И значит, все изображенные ими грешники тоже какие-то неведомые мне немцы или голландцы. А «Гибель Помпеи» нарисовал наш. И меня очень впечатлила эта картина, и обреченный на смерть маленький голый мальчик, и падающие статуи...

Почему, когда я учил в школе стихотворение «Сквозь волнистые туманы пробирается луна» и «колокольчик однозвучный утомительно...» Я тогда понимал, что туманы эти случились где-то далеко, и колокольчик звенел давно, и совсем не на нашей улице. Почему я чувствовал, что эти стихи мне не чужие, и старался не впускать в себя тревогу, которая шла от этих стихов. Я предчувствовал что-то, из-за этого быстренько учил те стихи, и бежал играть. Как можно скорее бежал! Чтобы то, что было там, в этих стихах, раньше времени не утомило меня, не лишило бы покоя.

Но тогда я мог почувствовать что-то совершенно беззащитно. Хорошо, что не почувствовал, а то, как бы я сейчас?...

Помню, подобралась большая и какая-то уж очень лихая компания взрослых студентов, и тех, кто уже успел закончить какое-то свое

высшее учебное заведение. И вот эта компания решила отправиться к морю поездом, для экономии и веселья. Мы договорились, что поедем в начале августа, потому что в июле и в родных краях тепло, и к тому же, можно было подзаработать денег к поездке на какой-нибудь временной летней работе.

Прямиком и без пересадок до Черного моря можно было доехать только прицепным вагоном... Короче, прямого поезда до какого-нибудь приморского города от нас не было, и нет, а был такой вагон, который прицепляли по ходу следования то к одному составу, то к другому. Этот вагон должен был идти к вожделенному морю отчаянно долго. Почти пять суток. Но нас это устраивало. Первого августа мы собрались на перроне возле нашего вагона, который был прицеплен к московскому поезду. Вагон был самый старый, закопченный и какой-то помятый. Нас собралось пятнадцать человек, и мы принялись отдыхать еще не сев в вагон. Догадываюсь, что за время пути мы здорово утомили попутчиков и проводниц.

Когда наш скрипучий и пропыленный вагон отцепляли на очередной станции, все его обитатели выползали из него поразмяться, побродить, покурить свободно, купить что-нибудь. За двое суток дороги и таких остановок все мы опухли от жары и пива, которое покупали на всех станциях. Когда поезд останавливался где-то в поле и стоял какое-то время, в окна вривался звон кузнечиков. Мы выскакивали из вагона, невзирая на протесты проводниц, без разбора нарывали каких-то цветочков, которые проводницам же и отдавали.

На третий день пути все скисли. Кто-то спал, кто-то играл в карты, я лежал на верхней полке и смотрел в приоткрытое окно. Когда поезд шел быстро, приятно было высунуть руку в окно и ладонью резать ветер, изменяя угол наклона ладони... И ладонь была, как крыло маленького и очень юркого самолета.

Когда мы перевалили за Урал и поехали еще южнее, деревни стали больше, речки извилисты и уже... На станциях тетки предлагали большую золотую кукурузу и черные, пахучие семечки. Поезд шел, яблоки у торговков на перронах становились все крупнее и дешевле. А звук «Г» произносился людьми все мягче и мягче.

Мы совсем изнемогли от постоянных станций, остановок и отставаний от и без того тягучего графика движения. Жара стояла оглушающая. Со станций, на которых мы стояли особенно долго, мы из шалости и развлечения ради посылали телеграммы. Помню, мы долго простояли в городе Сызрань. Меня забавляло название,

и я отправил своим знакомым несколько телеграмм из этого незнакомого мне города. Одна была такая: «Подозреваемые вами люди в городе Сызрань не проживают», другая такая «Благодарим спасение детей тчк Сызраньский ОСВОД», и какие-то другие. В общем, мы пытались развлечься, как могли. Пиво в нас уже не заливалось. Пахло от нас так, как от каких-то очень пахучих животных. Купе наши стали похожи на лежбища этих самых животных. Волосы на наших головах был, как проволока. Но все равно нам было весело, мы ехали отдыхать, и несмотря на то, что уже был август, все лето казалось еще впереди. Мы же ехали на юг.

И вот так мы ехали, и наш поезд в очередной раз остановился безо всякого расписания. Я высунулся в окно, и посмотрел по ходу состава. Вагоны тянулись далеко вперед, и там вдалеке горел красный semaфор. Вокруг было чисто поле. Поле было уже желтое. Сухие колосья кругом, с островками каких-то сорных голубых цветов. У железнодорожного полотна и возле нашего вагона оказался маленький дощатый полустанок, длиной с один железнодорожный вагон. К полустанку вела через поле извилистая дорожка. На полустанке стоял мужичок, довольно высокий, худой и сутулый дядька. На голове у него была какая-то светлая выгоревшая фуражечка, одет он был в светло-серую рубаху, с закатанными выше локтя рукавами, рубаха висела на нем навыпуск, ниже были видны коричневые брюки, и я не помню, что у него было на ногах. Но все чистое и поглаженное. На брюках даже виднелись стрелки. На досках ветхого полустанка у ног мужичка лежал большой холщовый мешок. Дядька курил папиросу и с любопытством, щурясь от дыма, рассматривал большой поезд дальнего следования, который явно случайно там остановился и был ему в диковинку.

Я лежал на своей верхней полке, высунулся в окно и разглядывал мужичка. Так же делали многие...

— Дед, чем торгуешь? — спросил я, каким-то не особенно свойственным мне образом. Мне казалось, что так обратиться будет проще и как бы народнее, что ли.

— Да ничем, сынок, — сначала пожал плечами, а потом ответил дядька — еду только торговать.

— Так давай, садись, а то поезд уйдет! — сказал кто-то из другого окна.

— Не-е-е, куда там! — ответил человек с полустанка. — Вы-то вон куда едете, а я в район на базар. Шас дизель подойдет, и поеду, — он говорил немного смущенно, но улыбался.

— А чё в мешке-то, дед? — послышалось еще откуда-то. — Кота, небось, везешь продавать.

— Лапти, ребята. Лапоточки, — услышали мы.

— Покажи, а! — крикнул я.

Он нагнулся, медленно развязал мешок и достал пару настоящих лаптей с длинными плетеными вязками. Лапти были настоящие, такие, в каких Емеля ездил на своей печи, и даже еще более настоящие.

— Ух ты! — восхитился я. — Продай, дед.

— Да покупай на здоровье, только зачем они тебе?

— погоди, дед, — крикнул я. — Я сейчас.

Я соскочил с полки, схватил деньги и побежал к выходу из вагона.

— Куда, куда? — закричала проводница в тамбуре. — Сейчас поедем уже.

— Я мигом, мне надо, — крикнул я, проскочил мимо нее и спрыгнул на полустанок. — Ну дед, давай, сколько стоят твои лапти?

— А какая у тебя нога?

— Да какая разница, давай любые.

— погоди, погоди, сынок, — он внимательно посмотрел на мои ноги и полез в свой мешок. — Сейчас.

— Дед, да давай любые уже, а то поезд уйдет, — торопил я.

— А дамских у вас нету? — кричали наши девчонки из окна вагона и смеялись.

— Вот, — наконец сказал дяденька, достал аккуратные лапти и протянул мне. — С тебя, сынок, (тут он сказал какую-то совсем маленькую цену, ну, например, три рубля, я не помню точно).

— Отлично! — сказал я, представляя, как повешу эти лапти на стенку у себя в комнате. — Вот, держи, — и я протянул ему купюру (ну, например... десять).

— Ой, у меня сдачи не будет, я еще не наторговал, — сказал тот в ответ.

— Все, давай в вагон, зеленый дали, — крикнула мне проводница.

Я растерялся и не знал, что делать.

— Возьми еще, — засуетился мужик — пригодятся, может быть.

— Давай, бери весь мешок, — кричали мои приятели, — потом еще наваришься...

— Да не надо, дед. Мне одной пары достаточно, — засмутился от всего этого шума я.

— Так сдачи-то нету, — растеряно твердил дядька.

— Да брось ты, — махнул рукой я, — ерунда.

— Как это брось? Такие деньги! Мне не надо! — даже испуганно быстро ответил он.

Тут поезд лязгнул вагонами, натянулся и тронулся, я со своими лаптями добежал до подножки и вскочил на нее. Наш вагон был последним...

— Да как же?! Возьми деньги, сынок! Лапти себе оставь, на здоровье, — услышал я и оглянулся. Дяденька быстро шагал по полустанку за медленно ускоряющимся вагоном. Он шел с протянутой рукой, в которой были деньги.

— Отец, оставь себе! Все нормально! — крикнул я.

Он быстро дошел до конца полустанка, сбежал по ступенькам вниз и зашагал по земле все быстрее и быстрее, не опуская руки. Он смотрел мне в глаза. В этих глазах были смутение, стыд и непонимание. Поезд шел все быстрее. Он побежал, все не опуская руки. Потом стал отставать, но бежал.

— Сынок, весь сенокос в них проходишь! — крикнул он, пробежал еще несколько шагов, остановился и медленно опустил руку. Я долго видел его, стоящим неподвижно...

Как же мне потом было стыдно! Я даже ушел в туалет и коротко расплакался. Мне было тошно и не хватало воздуха от стыда. Как я мог так сделать?... Не ресторанному же халдею я оставил щедрые чаевые... Я ругал себя за ту манеру, с которой говорил с тем человеком, за то, что обращался к нему на «ты». Хотя было видно, что он этого даже не заметил, не обратил на это внимания.

Я терзался тогда от того, что прикоснулся к чему-то большому, и, как выяснилось, важному и не чужому мне... Но коснулся глупо, бессмысленно и пошло... Когда мы доехали к вечеру до какого-то большого города, я уже успел успокоиться, поспать. Мы купили в том городе такое вкусное мороженое, что я до сих пор помню его вкус. Ну и пиво тоже купили. На следующий день мы добрались до моря, и, как сумасшедшие, купались до самой ночи.

Когда сибиряки едут с юга домой, они почти всегда везут с собой фрукты. Эти фрукты тяжело везти, они бьются, дают сок, их так трудно упаковывать. И из всех этих персиков, абрикосов или медовых, больших груш до Сибири в более или менее приличном виде доезжает едва половина фруктов. Но их везут даже не для того, чтобы угостить родственников и знакомых, и даже не для себя. А просто невозможно отказать себе в покупке свежайших этих

плодов, когда их так много, они дешевы, а главное, что они растут прямо на глазах, и можно посмотреть на сами деревья, увидеть валяющиеся в траве, истекающие соком персики или сливы. Увидеть, пнуть упавший плод ногой, и спугнуть тем самым пару ленивых южных пчел, которые совсем не похожи на поджарых и мускулистых сибирских коллег.

Еще фрукты везут сибиряки для того, чтобы при родственниках или знакомых вынуть из ящика яркий, мохнатый, но помятый от дорожных приключений персик и сказать: «Вот, позавчера сам с ветки сорвал. А сколько их там валяется, скажи, Галя!»

— Ой, там эти сливы и яблоки прямо на улице валяются, никто их не берет. У нас на рынке хуже продают, — подтверждает Галя. — Могли бы хоть варенья наварить, а то все пропадет.

— Да жизни они там не знают!

Вот ради этих слов и везут тяжелые фрукты, доплачивая за перевес багажа, беспокоясь и надрываясь.

Ради таких слов многое делается в Сибири. «Да они там жизни не знают» — звучит в Сибири по поводу всех не сибиряков. И в этих словах всегда есть не высокомерие, а какое-то снисходительное сочувствие, этакая жалость с едва заметной улыбкой на губах. С такой улыбкой смотрят взрослые и мудрые на неопытных и глупых. Сибиряки позволяют себе пожалеть всех: южан за то, что они не знают жизни и ничего серьезного и трудного не пережили, москвичей за то, что у них там, в Москве, суета, и жизни нет, питерцев за то, что они сильно умные, но настоящей жизни не знают, китайцев за то, что их много, японцев за то, что у них мало земли и они сами маленькие, желтые и странные, индусов за то, что те какие-то бесхарактерные и неприспособленные всё к той же жизни, американцев за то, что те, как говорят знающие люди, дураки и у них там не жизнь, африканцев за то, что они бедные, неграмотные, черные и у них там жарко, французов за то, что у них все шиворот навыворот, а простоты жизни нет, ну, чтобы по-простому, латиноамериканцев всех вместе, без разбора, за то, что они там где-то далеко, чего-то там танцуют, поют, а какая там у них жизнь — не понятно. Немцев сибиряки уважают, но тоже жалеют за их аккуратность за то, что они там постоянно работают, за то, что у них все качественно получается, но жизни-то все равно нет...

— Что же это у них там делается?! Страх-то какой, — скажет какая-

нибудь сибирская тетка, глядя по телевизору американский фильм, где какой-нибудь маньяк хитроумно, жестоко выслеживает и убивает одну красивую женщину за другой, на фоне Нью-Йоркских дебрей, а герой фильма — полицейский — все время отстает от него на пол шага. Или смотрит фильм, вообще, про вампиров... Смотрит она такое кино: «Вот надо было до такого дожить, что делают?! — бормочет она и качает головой.

А у нее самой старшего сына давно уже убили топором в какой-нибудь корявой пьяной драке, убили не со зла, а так... Дочь торгует на рынке не весть чем, и живет то с одним, то с другим, и пьет, не шутит. Младший сын сидит в тюрьме за то, что по глупости с друзьями что-нибудь украл, или угнал машину, или избил кого-то до полусмерти. А ее муж умер недавно, но всю их жизнь он пил, гонялся за ней по двору, а если догонял, бил...

— И еще показывают такое! — скажет она сама себе, выключая телевизор, когда кино закончится. Скажет сама себе, потому что сказать-то больше некому. Скажет, и пойдет чем-нибудь заниматься на кухне, позвякивать кастрюлями, что-нибудь засаливать, варить или просто ковыряться, так, по привычке...

Как и когда выработалось в Сибири и у сибиряков то самое «знание» и понимание, что есть «Настоящая жизнь»? Как укоренилось четкое понимание, что значит вести себя «по-сибирски» и «не по-сибирски». Границы этих правил ясны и проведены четко, в отличие от неясности и размытости границ самих сибирских территорий.

Каждый сибиряк знает, что он сибиряк, а значит, он обладает особыми качествами, и он знает эти качества... Сибиряк знает, что уже по факту места рождения он верный друг и честный товарищ, он открытый и мужественный человек, обязательно щедрый, готовый отдать и снять с себя последнее. Сибиряк — человек с острым чувством справедливости. Он обладает некой широкой душой и еще всем известным сибирским здоровьем. Если он ест, значит ест, если пьет, значит пьет. Он знает, что мелочность это плохо и ее в нем нет. Сибиряк на многое закрывает глаза, не суетится, и готов открыть душу при любом удобном случае всякому хорошему человеку. Но он не прощает вероломства, жестоко на всю жизнь обижается на ложь, подлость и двуличие. Не терпит жадности и просто продуманной прагматичности. В любом аккуратном, тихом и не пьющем человеке сибиряк готов увидеть хитрость, жадность и высокомерное презрение к себе.

Сибиряку так важно ощущать в себе эту особенность, всячески

ее в себе пестовать и для того, чтобы крепче в ней убедиться периодически выезжать куда-нибудь на юг, чтобы поглядеть там на южных зажиточных куркулей, или в Москву, чтобы в самый час пик спуститься в метро, оказаться зетёртым в людском потоке в каком-нибудь переходе между двумя самыми оживленными центральными станциями. Посмотреть на все это, да еще нарваться на какого-нибудь жулика, который обманет, обведет вокруг пальца, разобидит... Вот так, съездит сибиряк куда-нибудь, убедится в своей жизненной правоте и скорей обратно...

И как же рад сибиряк заезжему гостю, которому можно показать жизнь, открыть душу, снять с себя и отдать последнее, и угостить настоящей сибирской едой. Настоящим сибирским борщом, капустой сибирского засола, огурцами, которые сам солил, и сибирскими пельменями, которые на самом деле ничем не будут отличаться от уральских, дальневосточных, среднерусских, кубанских или подмосковных...

Но без ощущения своей особенности, уникальности и силы, и без разговоров об этом, он не сможет жить, он затоскует или понесет его невесть куда. Туда, куда уже многих унесло без возврата. И еще без ощущения этой особенности он не станет себя соответственно этой особенности вести и жить в соответствии с ней.

И вот так он будет сидеть у телевизора в какое-то морозное зимнее воскресенье, смотреть по телевизору программу про жизнь животных. Будет смотреть на акул в бирюзовом и теплом море, или на удава в каких-то джунглях, или поглядит на удивительную жизнь дельты Амазонки...

— Каких только тварей нет, а! — скажет он с отвращением. — Слава богу, у нас всей этой дряни не водится, — добавит он еще, плюнет и пойдет на кухню, откроет форточку и будет курить у окна.

А за окном февраль, сильный ветер, воскресенье, и почти нет людей на улице, и машины проезжают редко-редко. И до весны еще надо дожить.

Но удивительное дело, знаете, что больше всего поражает иностранцев, которые по каким-то неведомым причинам и надобностям приезжают в Сибирь? Я имею ввиду не тех американцев, которые когда-то, еще во времена детства моего деда, привезли в наш город

пароходик, первый трактор, и построили общественную баню. Зачем они тогда это сделали, что они при этом думали и испытывали, и куда они подевались потом, я не знаю. У меня нет никаких представлений об этом, но мне всегда казалось очень странным то, что какие-то американцы из Америки сделали такое странное дело.

Я не про них, я про тех, которые приезжают теперь. Которых каким-то ветром заносит в какой-нибудь сибирский город. Они могут приехать, чтобы прочитать лекцию или что-нибудь продать, или по каким-то государственно-дипломатическим делам. Ну, в общем, по каким-то делам, а не просто так, погулять...

Они выходили из самолета почти, как американские астронавты из своего летательного аппарата, когда прилетели на луну. Причем, движения их, а главное, их одежда, сильно напоминали движения и скафандры тех самых первых людей на луне. Толстые пуховики ярких цветов, толстые шарфы, шерстяные штаны, почти лунные ботинки и нелепые шапки самых разных форм, от «пирожка» до шапки со свисающим сзади лисьим хвостом, как у Следопыта и Зверобоя вместе, из романов Фенимора Купера. Даже если они ехали на неделю, они везли с собой огромный багаж. Но это я имею в виду тех иностранцев, которые прилетали в Сибирь впервые.

Как же изумлялись они с самого первого шага. Но они изумлялись не горам снега по бокам полосы, на которую сел их самолет, и не свежему морозцу около -20°C , и не старенькому трапу, который подавали к принесшему их в Сибирь самолету...

Их поражала в первую очередь красивая женщина, с табличкой в руках, которая встречала их от имени компании, которая их пригласила. Их удивляло элегантное пальто, изящные сапоги, и ее, может быть, слишком сложная прическа, не накрытая никаким головным убором. Их удивлял ее, более чем приличный, и даже литературный, английский или французский. Их обескураживали радостные люди в аэропорту, которые весело встречали каких-то своих родных или близких. Машины, хорошие и не очень, а некоторые просто шикарные, такие, о которых эти прилетевшие иностранные специалисты могли бы подумать только в случае большого выигрыша в лотерею (они многие тайком это делают). А тут этих машин было... ну, в общем, не одна. Их изумлял веселый говорливый водитель, который вез их из аэропорта в гостиницу. Они, вытаращив глаза, слышали какую-то песню по радио, ту же самую, что слышали, когда ехали в аэропорт у себя в стране. Удивляли рекламные плакаты, магазины и люди, одетые, конечно, не очень привычно для

американского или европейского глаза, но уж точно не так нелепо, как они сами, то есть, прилетевшие.

Их поражала жизнь. Очевидная жизнь. Жизнь как-то устроенная, начавшаяся не вчера, тянущаяся не суетливо, наполненная всеми составляющими: детьми, стариками, домами, светом из окон, улицами... спокойствием и беспокойством.

Они ехали и удивлялись гораздо сильнее, чем могли бы удивиться первые люди, вступившие на луну, и обнаружившие там... ну, к примеру, муравейник или пчелиный улей.

Они ехали в город из аэропорта, и кому-то из них становилось неловко за целый мешок медикаментов, который лежит в багаже. А когда они проезжали мимо фотомагазина с надписью «Кодак» или «Фуджи», они усмехались, вспоминая про кучу фотопленки, которую купили еще дома и взяли с собой, чтобы фотографироваться с местными жителями, оленями или медведями, и конечно, чтобы обязательно сфотографировать знаменитые сибирские тюрьмы и каторги.

Они, конечно, будут посмеиваться устройству гостиницы, куда их поселят, картинам, висящим в номерах и коридорах. Будут недоумевать по поводу слишком коротких юбок, слишком яркого макияжа, слишком длинных ногтей, и всему тому, что слишком у большинства сибирячек, которых они встретят в ресторанах, в каких-то приемных каких-то офисов или в фойе гостиницы. Но они почувствуют, что все это им нравится.

Они, конечно, поедят по городу и по окрестностям, пофотографируют избы за городом, памятники и странности архитектуры в городе, и еще... Еще что-то пофотографируют.

Довольно быстро они привыкнут к, в большинстве своем, коренастым и пузатым своим сибирским коллегам. Привыкнут к беспрерывным тостам во время ежевечерних встреч, к поездкам в баню, как к неизбежному испытанию. К повышенному интересу женщин к себе. Почти моментально они научатся материться. А главное, войдут во вкус.

И вот поляк или венгр, я уже не говорю про бельгийца или австрийца, который ехал в Сибирь, ощущая себя спускающимся с неких цивилизованных и устоявшихся вершин куда-то вниз, уже не очень хочет возвращаться восвояси. А как же? Где перед ним в один вечер может произойти такой ураган жизни? Где его будут расспрашивать обо всем, интересоваться его мнением обо всем и так внимательно слушать? Где ему будут так часто и так значительно пожимать

руку? Когда в его честь за один вечер произнесут столько не вполне понятных ему, но весьма пафосных тостов? С какой стати еще из-за него накроют такой стол и выпьют столько водки? И когда еще перед его, уже меркнувшими от выпитого без должных навыков алкоголя, глазами, произойдет открытие души, прямо у него в гостиничном номере, потом попытка отдачи ему последней рубахи и смертельная обида на него же за то, что он от этой последней рубахи вежливо отказался.

И где, в каком другом месте ему, после такого вечера, так посочувствуют утром и так о нем позаботятся?

В конце такой поездки, потерявший ощущение не только времени суток, но и времени вообще, заваленный подарками и визитными карточками, забывший, как достают из кармана кошелек и как платят... Он будет ехать в аэропорт и смутно догадываться, что то, для чего он приезжал, его лекция, его какая-нибудь программа, схема или предложение, все это как-то совсем не имеет смысла и неприложимо к той земле, куда он прилетел и откуда вскоре улетит.

Он улетит, его проводят...

— И чё прилетал? — скажет кто-то из проводивших его.

— Ага! Ты понял? Я не понял, — ответит другой. — Но парень хороший, да?! Такой оказался простой.

В следующий раз он прилетит уже в нормальной своей одежде, без фотоаппарата, со знанием того, что ему надо и с определенными желаниями. А там у себя на Родине он о своих открытиях и удивлениях рассказывать не станет. Он подумает-подумает, чего бы рассказать про Сибирь, да и расскажет про снега, морозы, водку и икру, да еще и приврет зачем-то. Хотя обычно никогда не врал. А если где-нибудь в московском аэропорту встретятся, возвращаясь домой, два соплеменника, например, два голландца или датчанина, разговорятся по появившейся в России привычке поговорить...

— А извините за любопытство, у вас дела были в Москве? — спросит один.

— О нет! Очень далеко! В Сибири! Я только пролетом в Москве, — ответит другой.

— Как интересно! И где же в Сибири? Я тоже только что из Сибири, я там был с одной комиссией.

— Да-а!? Я был в Новосибирске.

— А я в Красноярске, точнее, километрах в ста от Красноярска, там...

— Надо же! Мы были совсем недалеко! А где живете?

— Я? Недалеко от Роттердама.

— М-м-м, а я в Гааге.

— Не близко...

Вот так люди из крохотной страны, привыкшие к тому, что через каждые три километра новая деревня, а через каждые десять километров город. Вот так, оказавшись в Сибири, вдруг ощутили не просторы, не дали, а отсутствие таковых. Они моментально научились не чувствовать и не видеть бесчисленные километры, не думать о реальных размерах такой, может быть не самой удобной для жизни, и не самой красивой в мире, земли под названием Сибирь. Они даже не поняли, что с ними произошло! Потому что их домашние километры для них остались прежними, они не стали меньше и игрушечнее по сравнению с размерами посещенной ими земли.

Но когда этот голландец или датчанин будет показывать на карте своим друзьям сибирский город, в котором он побывал, и все будут шумно удивляться и восхищаться тому огромному расстоянию, которое преодолел их друг...

— Красноярск? — медленно и коряво прочтет кто-нибудь. — О-ля-ля! Сибирь!

Вернувшийся из Сибири будет доволен. Он покажет, как «там» пьют водку, скажет про снег... Он не расскажет, что эти страшные, невероятные расстояния на самом деле только три часа самолетом до Москвы, и четыре с небольшим часа от Москвы до... например, Красноярска. Он не скажет! Он уже приобщен. Он не сможет объяснить, потому что сам не понял, а только ощутил... Не сможет объяснить чем, почему, и как голландские километры длиннее сибирских, а точнее, почему они вообще другие. Ну, то есть, совершенно другие...

Но при этом ему было там легко и весело...

Там, в Сибири, которая таким широким мазком намазана на поверхность планеты.

Мой дед никогда не бывал за границей. Он даже во время войны не успел освободить Польшу, взять Кенигсберг или Берлин. Его сильно ранило, точнее, просто искалечило тогда, когда наши войска только, только стали наступать. Он воевал два года, а потом долго

лежал по госпиталям. Он защищал Москву, которую совсем не знал, и побывал-то в ней только в госпитале, да проездом. А за границей он вообще ни разу не был. Интересно, его это огорчало, беспокоило, хотелось ли ему туда? А если хотелось, то чего ему могло хотеться от заграницы?

А чего мне хотелось от того, что находится за пределами моей страны. Чего я ждал за этими пределами до того, как в первый раз эти пределы пересек. Я хотел... Нет! Это довольно длинный и подробный список...

Проще все-таки назвать то, что я ощущал, как желаемое, важное, и даже необходимое здесь. Здесь! Из чего складывалось понятное и жизненное ощущение моей страны?... Из чего складывалась страна?

Понятное дело — из того, что меня окружало. И то, что меня окружало, сначала не вызывало никаких сомнений. Хотя я могу говорить только о том, что помню и с того момента, с которого что-то стал помнить.

А что меня окружало? Самое необходимое! Мама, папа, потом бабушка, потом — наше жилье, двор, бабушка, детский сад, воспитательницы (одна хорошая, другая плохая)... какие-то родственники, и другие жизненные детали. Из этого состояла страна. Мы жили в квартире на каком-то этаже пятиэтажного обычного дома. Но когда я рисовал наш дом, я рисовал такой домик... Как дети рисуют домик: квадратик, сверху треугольник крыши, окно посередине домика, и даже крестик в окне, то есть рама. На крыше обязательно труба, из трубы всегда шел кудрявый, похожий на пружину дым. Низ листа я долго и упорно закрашивал черным, поверх черной полосы так же долго красил зеленую полосу — это были земля и трава. Верхний край листа закрашивался синим — это, понятное дело, небо, и в углу листа помещалось улыбающееся солнце с лучами. Возле дома я рисовал маму, папу, себя, бабушку, бабушку и дерево. А еще собачью конуру, почти так же, как домик, только с круглым окном и без трубы. А потом просил нарисовать собаку, потому что собака, как мне казалось, получалась у меня не похоже. Интересно, главное, родители получались похоже, а собака, которой у нас и в помине не было — непохоже.

И еще, почему я рисовал такой домик, а не пятиэтажку? Я в деревне не жил, печку не топил, ни у одного из ближайших домов на крыше

труб не было. Из заводских труб, которые было видно из нашего окна, дым шел, да еще как! Но я же рисовал не завод. Я наш дом рисовал. И я же не ленился рисовать пятиэтажный дом. Я землю и траву рисовал дольше, чем все остальное, ломались карандаши, мне было не очень весело красить черную и зеленую полосы, но я трудился. Почему тогда домик был маленький и какой-то деревенский. Откуда это взялось.

Откуда взялось то, что те денежки, которые мне давали взрослые или которые я находил на улице, были для меня не просто так, железячки или бумажки. И если игрушки можно было разбросать и оставить валяться, или дать кому-то поиграть, то откуда я знал, что с денежками так поступать не надо. Сами монетки не казались мне красивыми или некрасивыми, и я не любил и не нелюбил те денежки, которые были у меня в копилке. Я к ним относился, как к деньгам. Сразу. А бумажные деньги были взрослыми деньгами, то есть, большими, и я знал, что это серьезный предмет. По сути своей серьезный. Но и со своими медяками я тоже не шутил.

Когда я хотел то, что хотел, мороженное или какое-то развлечение, и у меня в принципе, было достаточно моих монеток, чтобы оплатить это, я все равно старался, чтобы родители заплатили. Мне было жалко своих денежек, я хитрил и юлил. И еще, я все равно понимал, что покупка чего-либо — это взрослая прерогатива. Откуда я понял это, каким образом чувство денег появилось во мне?

Я не чувствовал внутренней необходимости в том, чтобы ходить в детский сад, а потом в школу, я даже, наоборот, не хотел этого. Я ждал каникул, праздников и выходных, я даже с удовольствием болел, только, чтобы не ходить в школу. Но так могло продолжаться неделю, две, месяц или все лето. Но чтобы вообще не ходить в школу, то есть её бросить?... В серьез такая мысль даже пугала, она просто не рассматривалась, как серьезная. И не в смысле, что там, в школе, я должен и могу получить необходимые знания, а без этих знаний у меня не будет хорошей профессии. Я помню, как родители говорили: «Ну-у, с такими оценками только в дворники. Хочешь быть дворником, продолжай в том же духе». Меня не пугало это... Просто, а как совсем без школы? Как?...

Когда-то меня маленького привели в детский сад, и я попал в какую-то группу, в смысле, в каждой группе должно быть какое-то ограниченное количество детей, нас и распределили по группам. Не думаю, что был какой-то критерий или какая-нибудь причина, кроме возраста, чтобы одних детей туда, а других сюда. Так же

и в школе, я попал в тот класс, в который попал. Попал вместе с другими ребятами, которые просто жили в тех домах, которые окружали нашу школу. Нас раскидали по классам А, Б, В и все.

Почему я сразу полагал, а потом был уверен, что моя группа и мой класс лучше, чем другие? Ни воспитатели, ни учителя, ни родители нам такого не говорили, и даже косвенно на это не намекали. Откуда?...

В какой момент я стал бояться милиционера? И почему я стал его бояться? Я же к тому моменту ничего плохого не совершил, и не собирался, и даже не думал, что смогу сделать что-то такое, в смысле, не шалость, не побег в другой двор, и не драку в песочнице, а такое, за что может тебя наказать милиционер.

Я машин на улице, которые действительно могли меня покалечить или убить боялся меньше милиционера. Точнее, я боялся, что если меня собьет машина, то об этом узнают родители, а еще страшнее — милиционер. Милиционер был даже не человеком, с характером, привычками или просто индивидуальными особенностями. Он был Милиционер! Он казался вездесущим и неотвратимым. А я тогда ничего не знал про закон, про меры наказания и даже не знал, что собственно мне может сделать милиционер. Почему я стал его бояться? Что это было такое? Только я хочу сказать, что я маленький уже чувствовал на себе тяжесть государства и всей страны.

Нас в детском саду и в младших классах школы учили петь хором под пианино:

То березка, то рябина,

Куст ракиты над рекой.

Край родной, навек любимый,

Где найдешь еще такой? (два раза)

Когда я пел это, я не думал, что я участвую в каком-то культурном развитии меня. Я даже не слышал собственного голоса. Мне было просто очень не весело, но я стоял и пел. Мы стояли возле пианино, страдали, а за окном, во дворе детсада, бегали и играли дети из других групп, которые уже отпели или им еще это предстояло.

Может быть, от невыносимо грустной музыки, которой сопротивлялась во мне каждая моя клеточка, жаждущая веселья, или от вынужденного неподвижного стояния во время пения, что было тоже невыносимо, может быть, от этого во мне возникло несколько серьезных вопросов к этой песне.

Во-первых, меня заинтересовало, а что такое «навек любимый»? Слово «век» мне было непонятно. Я спросил папу и получил ответ,

что век — это сто лет. Сто — было много!

Сто лет я должен любить край, в котором то березка, то рябина, то есть, ничего интересного для меня. «Где найдешь еще такой?» Из этих слов я должен был сделать вывод, что нет ничего лучше края, где то березка, то рябина... Но почему тогда музыка-то такая грустная? Эта музыка требовала, чтобы мы тоже пели грустными голосами. И я тогда думал (я правда так думал, а не для красного словца здесь это пишу), что значит любить «край родной, навек любимый» это трудное, невеселое и очень долгое занятие, похожее на работу. На такую работу, которую постоянно, медленно и с грустным лицом делает дяденька, у которого были ключи от сарая, стоящего в дальнем углу двора нашего детсада. В этом сарае у него были лопаты, метлы и прочие скучные вещи.

Однажды, в одной красивой католической стране я зашел, весь преисполненный туристического благоговения, в большой, старинный и очень красивый готический собор. Внутри он казался даже еще выше, чем снаружи. Собор был огромен. Людей в нем было скорее не много, они сидели на деревянных скамьях редко-редко. В основном это были старики. Шла служба, священник говорил и говорил, периодически все присутствующие в соборе вставали, говорили что-то хором и садились. Так же периодически пел маленький хор. Хор состоял из мальчиков разного возраста, они были одеты в длинные рубахи... очень длинные. Я присел на скамью и стал слушать и смотреть. Свет от витражей давал ощущение мягкого солнечного дня за пределами собора, хотя там было туманное и сырое утро.

Я слушал хор, который звучал так грустно и думал, что вот ведь, как прекрасно, как красиво и приятно заходить в такую чудесную церковь. Какой здесь свет! И наверное я бы тоже с удовольствием с детства ходил бы сюда и может быть пел, и представлял бы себе, как пятьсот или даже больше лет назад здесь так же молились люди и мальчики тоже пели. Я сидел и думал, что может быть вон тот старик, которого привезли сюда на мессу в кресле-каталке, когда-то пел здесь, будучи мальчиком, и не думал, что станет стариком. Но как же прекрасно здесь, говорил я себе! Вот так течет жизнь красивого старинного города, течет вокруг этого собора. А в Сибири пятьсот лет назад даже...

Я стал рассматривать мальчиков в хоре. Один из них, самый крайний во втором ряду, пел, но смотрел куда-то вбок и вверх. Я посмотрел туда же и увидел несколько птиц, которые залетели

как-то внутрь, а теперь скакали и перелетали с выступа на выступ, высоко, возле верхнего окончания стрельчатого окна. Сквозь витраж этого окна струился свет. Я повнимательнее посмотрел на мальчика, на то, с какой тоской он поет, и вдруг отчетливо увидел, что его тоска — это не чувство проживания той музыки, которую он исполняет в прекрасном храме, а самая настоящая тоска. То есть, когда мальчику не весело. Я посмотрел на то, как он смотрит на птиц, и на свет из окна... Я тут же узнал этот взгляд, и свет из окна и тоску...

Я понимаю теперь, что страна тогда, когда я был маленьким, а потом юным, никак мною не ощущалась. Я конечно знал, как звучит наш гимн, я знал, какой у нашей страны флаг, и знал, что страна у нас самая большая, хорошая и сильная. Мне от этого было спокойно. Я довольно часто рисовал войну, где наши самолеты и танки уничтожали, скажем, не наши танки и самолеты. Но я же в тот момент рисовал не какую-то патриотическую картину, я вообще не создавал какого-то художественного произведения. Я рисовал бой потому, что было приятно, рисуя танк или самолет, изображать голосом и губами звук двигателя. Когда я рисовал огонь из пушки или пулемета, я громко изображал выстрелы, а когда я мощными движениями по листу изображал дым от горящего и падающего вражеского самолета, я громко завывал. Вот! Мои эти картинки имели для меня интерес, пока я рисовал, а само изображение было не важно. Я же не рисовал войну. Я играл.

Мне, конечно, нравился и нравится Гагарин, и мне было приятно, что он наш, не из Сибири, конечно, а просто Наш. Но он всем нравился и нравится. Все должны быть рады, что первым был Гагарин. Всем повезло с ним, с тем, что он такой...бесспорный. И повезло с Гагариным не только нашей стране, но и всем странам...

Наша страна что-то делала, правительство чем-то занималось, что-то происходило. Меня это не беспокоило, от этого я был защищен родителями. Они смотрели новости, отец читал газеты, их тревожили новости и газеты. А меня гораздо сильнее тревожило, пугало и терзало, если родители ссорились и ругались... Вот это уже было всепоглощающе ужасно и никто не мог с этим помочь. Страна то уж точно. Да я и не думал о ней в такие моменты, как о субстанции или силе, которая может помочь.

Мужики, рядом с которыми я сидел на стадионе нашего города,

когда был постарше и ходил на футбол. Вот они понимали, как устроена страна, и знали все взаимопроникающие процессы, которые в ней происходили.

Летом я ходил на футбол. Наша команда играла не лучше других команд, которые приезжали в наш город, а часто много хуже... Но футбол все-таки футбол. Я любил поорать с мужиками: «Череп, давай!» Так мы кричали нашему лучшему футболисту. Он был лысый, и поэтому его звали Череп. Мне приятно было вместе со взрослыми покричать взрослому и известному человеку: «Череп, давай!»

В перерывах матчей, мужчины выпивали и обнаруживали невероятное знание устройства нашей страны, национальных проблем. Ии экономических тонкостей. Все у них, конечно, так или иначе, подводилось к футболу.

Интересно, когда мне показалось, что я стал понимать, как устроена страна? Не помню! Но никакого определенного открытия не случилось. Не было такого, чтобы я силился что-то понять, а потом раз, и понял, как будто решил головоломку. Во-первых, я ничего не силился понять. Я не знал, что я должен понять. И сейчас я не понимаю, что мне нужно еще понять?..... Понимание страны так долго во мне менялось, и то доходило до ощущения полного понимания, а то совершенно наоборот.

И сейчас, в данный момент, есть какое-то понимание, но теперь-то я догадываюсь, что как только я что-то дополнительно пойму, то и общее понимание изменится. Но я не знаю, что мне нужно понять! Что? И почему я так переживаю из-за этого? Я уже знаю, я почувствовал, что страна не меняется... В смысле, внешне она меняется, и даже периодически, внешне же, соответствует какой-то соответствующей эпохе. И я уже не раз убеждался в том, что кто бы чего не придумывал, не набирался бы уверенности или ощущения собственной необходимости... и не принимался что-то затевать, тревожить или попросту мучить страну...

Нет, нет! Я не хочу, хотя так и скатывают к тому, чтобы сказать, что страна все стерпит, переживет, и будет жить дальше своим непостижимым и самобытным образом. Нет, я так не хочу сказать, потому что мне эта мысль как таковая не нравится. Не нравится даже не потому, что она банальна, а потому что я же все переживаю, гневаюсь, спорю с кем-нибудь, нервно читаю газеты, почти

маниакально жду выпусков новостей... Я живой... Я живой! А то, что страна не меняется, это больно знать живому существу.

Но в какой-то момент наиболее отчаянного переживания того, что творится со страной, меня вдруг может успокоить странное ощущение, что я слышу, что где-то в ночи быстро бежит по тонкой ниточке транссибирской магистрали длинный товарный состав. Слышу, как стучат по рельсам цистерны и какие-то коричневые вагоны, груженные чем-то. А навстречу ему летит скорый поезд. Они гудят друг другу, с грохотом проносятся друг мимо друга, и дальше... дальше. И я точно знаю, что кто-нибудь в этом скором поезде обязательно пьет чай.

Хоть из этого совершенно не следует, что страна не меняется, зато в этом можно найти успокоение, в смысле, можно успокоиться хотя бы немного. А страна не меняется, нравится мне это или нет.

Я это знаю. Потому что помню, как ясным весенним утром я сидел в почти пустом и на удивление чистом автобусе, который шел по моему городу. И город был тоже весь свеживымыт поливальными машинами. Я ехал на экзамен, к которому скверно подготовился, да и предмет давался мне с трудом. Я ехал и ненавидел всю дурацкую нашу страну, проклятый наш город, весну, учебу, как таковую, бессмысленный предмет, который я не хотел учить, преподавателей за то, что они зануды, и себя за то, что дурак. А после того, как мне попался на экзамене один из пяти известных мне билетов, после моего блестящего ответа, после получения похвал от преподавателей, и отличной оценки, я вышел в город... На улице погода уже испортилась, накрапывал дождик, но город был уже прекрасен, преподаватели мудры и справедливы, предмет, мною сданный, оказался необходимым и интересным, а себя я чувствовал умным, ловким и успешным. А какой прекрасной в этот момент была наша страна! Потом я уехал из Сибири... И что это изменило? В Сибири-то точно ничего! А я? Я просто точно так же, как горький пьяница, который бросил пить, а раньше-то пил, собственно тем был и занят, тратил на питье все свои силы, ум и здоровье. А теперь не пьет, и занят тем, что не пьет, то есть, тратит все свои силы, ум и здоровье на то, чтобы не пить... Этим и занят — не пьет.

Так и я. Раньше жил в Сибири, теперь в Сибири не живу...

Помню, я шел по улице нашего города, и увидел женщину, которая бежала по улице и рыдала. Был такой не очень морозный зимний вечер, мои школьные приятели и я шли после кино из кинотеатра на остановку. Мы смеялись и шумели. Магазины еще не закрылись, из них на улицу выливался свет. Людей, идущих в разные стороны, было много, а эта женщина бежала по улице. Бежала быстро, точнее, как могла быстро. Пальто на ней было не застегнуто, на голове не было ни платка, ни какого-нибудь другого головного убора. Она не плакала и даже не рыдала, просто в каждом ее выдохе был отчаянный звук какого-то невыносимого страдания. И было видно, что она бежит не куда-то, не спешит, и не убегает. Просто горе и терзание гонят ее, она бежит и даже не замечает того, что делает, того, что вокруг... Она пробежала через нашу компанию, сильно толкнув меня... Кто-то из ребят засмеялся, кто-то покрутил пальцем у виска. А я очень удивился...

Я узнал в ее горе свое. Я вспомнил, как сам бежал, не в силах стоять, говорить или просто плакать и кричать. Я бежал так же, как эта женщина, по улице, гонимый своим каким-то детским огромным горем (не буду говорить, что тогда случилось, и из-за чего я так страдал). И, увидев ее, я узнал, как выглядело мое горе. И как это не странно, но я вдруг узнал, что другие тоже страдают, испытывая то же, что и я, а может быть сильнее... И помочь не может никто.

В тот миг люди, идущие по улице, вышли из городского фона, окна домов засветились иначе, и за ними почувствовался объем, наполненный чужой, неизвестной жизнью, но жизнью не иной, не фантастической, а простой и настоящей. Я в первый раз ощутил себя участником жизни. И почти почувствовал, что улица, город, Сибирь, страна и т. д. только условия этого участия. Но я тогда не мог такого почувствовать. Точнее, почувствовать мог, но разобраться с упавшим на меня ощущением не мог. Не должен был. Рановато было...

Совсем недавно я, даже не помню при каких обстоятельствах, прочел про то, что животное морская свинка, оказывается, изначально экзотическое животное, которое по-настоящему называется кавиа, и в естественном своем и исконном состоянии водится в лесах Аргентины. На нее даже там охотятся и до сих пор употребляют в пищу. Свое название морская свинка получила из-за того, что питается, как маленький поросенок, и из-за того, что когда-то в Европу

этих зверьков привозили моряки из заокеанских далей. Признаться, для меня это была большая новость.

У моего одноклассника была морская свинка, но она принадлежала его старшей сестре, и поэтому мы не могли до нее добраться в любой момент. А морская свинка нас тянула к себе. Мы хотели выяснить, почему она и чем она «морская».

Когда ее хозяйки не было дома, мы наполнили ванну водой и бросили животное туда. Она (хотя, может быть, это был и он) без восторга, но все же ловко, плавала. Мы сделали с ней еще ряд экспериментов, в итоге, когда мы вынесли ее во двор, она убежала от нас так быстро, что мы ее не нашли. Другу, конечно, попало, сестра рыдала... А мы не переживали, ну убежала и убежала. Морская свинка была довольно обычным животным в нашем городе. Их держали у себя многие, как хомячков или рыбок. И так даже в самых отдаленных городках. И никто не относился к ним с пиитетом, с каким относятся к обезьянкам или лемурам. Свинка и свинка. Ест все подряд: и капусту, и морковку, и сено. Мышь, только большая. А она, оказывается, дикая кавиа из аргентинских лесов!

Зато нашего сибирского медведя я видел только один раз в жизни. Медведя, который является символом Сибири, неким сибирским талисманом и мифическим хозяином Тайги. Увидел я его неожиданно, без подготовки...

Это случилось осенью, в самых последних числах сентября. Как раз на несколько дней блеснуло яркое сибирское бабье лето. Бабье лето случается в наших краях обычно в конце сентября и начале октября. Оно случается в виде пяти-шести чистых солнечных дней. После затяжных, серых, а главное, холодных дождей, которые часто заряжают еще с середины августа, после сырых ветреных сентябрьских ночей, которые срывают желтые, мокрые листья и бросают их в слякоть и грязь, после многодневного быстродвижущегося, низкого неба, после долгого отсутствия закатов и восходов, вдруг... Наступает холодная ясная ночь с картой звездного неба над городом. А утро приходит с синевой и длинными студеными тенями от домов, за границей которых ослепительное солнце моментально высушивает асфальт и греет лица прохожих. Но тени в такие дни долго лежат во дворах городских многоэтажек, и во дворах холодно и пар идет изо рта.

В этом холоде и в этих дворах до полудня лежит на лужах ледок с белыми жилками. Как я любил медленно давить ногой этот лед, чувствовать, как он гудит и звенит из последних сил. Под ним

ползают пузыри воздуха, а потом лед рвется и из-под него выползает вода. Из-за этих луж я не раз опаздывал в школу.

В такие дни те люди, у которых проблемы с давлением, не замечают абсолютной чистоты воздуха и синевы неба, они мучаются головными болями и пьют таблетки. В один из таких дней даже самый отчаянный хулиган какого-то своего третьего «Б» класса мог одиноко и неторопливо идти домой после уроков, странным, почти взрослым образом склонив голову, и что-то предчувствовать и переваривать в своей коротко стриженной голове. Мог идти, глядя просто перед собой, в одной руке держать портфель, другую сунуть в карман мятых брюк, и нести на своем лице какое-то поразительное выражение.

В такой день любой сибирский горожанин, выехав за город, или стоя на набережной и глядя на реку, может почувствовать прямо таки физическое удовольствие от того, как далеко видно. Глаза, как органы, как части организма, дают в такой момент радостный сигнал: «Нам хорошо, нам приятно, мы для того и нужны, чтобы видеть так далеко».

Как раз был такой ясный день моей последней осени, прожитой в Сибири, когда я видел медведя. Мы поехали хорошей компактной компанией на шашлыки. Очень хотелось последний раз перед зимой посидеть у костра, побродить у реки, покидать в нее камешки, выпить водки из пластикового стаканчика, и комфортно опьянев пощуриться на вечернее, осеннее солнце. Пришлось выехать еще затемно, потому что мы решили отъехать далеко, чтобы оказаться в безлюдном и красивом месте.

Рассвет застал нас в дороге, когда мы тряслись по проселку, в тесно забитом нами микроавтобусе. Позади осталась пара деревень, потом мы шуршали по гравийной дороге, а потом заскользили по грунтовой. Самую поверхность грязи, из которой собственно и состояла та дорога, прихватило ночным морозцем. Зеленая еще трава вся блестела инеем вдоль разбитой колеи. Мы ехали медленно через какие-то поля и перелески.

Весь август и сентябрь в тот год шли дожди. Дожди, дожди и дожди. Урожай не смогли убрать, хлеб и овес, мокнувший под теми дождями, стал прорастать прямо в колосьях. Его не стали убирать, и он остался стоять в полях. Об этом постоянно стонали местные новости. Юные журналисты в плащах с поднятыми воротниками,

микрофонами в руках, чуть подавшись плечом в сторону микрофона, то есть, вперед, стоя на фоне неубранного поля, не скрывая своей журналистской радости, сообщали о том, что весь урожай погиб, что такого дождливого лета не помнят даже старожилы, что крестьянские хозяйства остались на зиму без кормов, что убытки подсчитать пока невозможно, потому что зима обещает быть долгой и суровой. В конце такого репортажа журналистик, прямо-таки сияя от своего проникновения в действительность, сообщал: «Только весной мы сможем узнать, кому из наших буренок повезло дожить до тепла, потому что без кормов, которые вы видите у меня за спиной, многие из них обречены. И как мудро говорят сельские жители — цыплят по осени считают».

Короче, мы ехали через поля, где высоченный овес стоял стеной не убранный, слегка побуревший, и не такой желтый, каким он бывает в конце теплого лета. Ехали медленно, боясь забуксовать, и не желая лезть в грязь, чтобы выталкивать нашу машину. А солнышко так и блистало, так и грело сквозь нечистое стекло.

И вот мы подъехали к краю очередного поля и остановились у почти голого березняка-осинничка.

— Ну что?! Девочки налево, мальчики направо!

Все осторожно повывползали из машины, стараясь не залезть в грязь. Солнце светило ясно-ясно и очень сильно. Оно пронизывало лесок, и стволы голых берез даже блестели.

Я не хотел писать, а ребята и девчонки зашагали в разные стороны. Им пришлось, особенно девчонкам, углубиться в лес довольно сильно, потому что лес был почти прозрачен, и только папоротник еще зеленел под ногами.

Все разошлись, а я побрел вдоль дороги назад в поле. Я шел, задевая плечом и рукой холодный овес. Усатые колосья доходили мне до плеч. Я сорвал колосок и потер его ладонями. Он оказался промерзлым и тяжелым. Я остановился, повернулся лицом в поле, положил пару зернышек овса в рот, и лениво стал жевать. Как только я это сделал, из овса прямо передо мной встал медведь. Он не быстро, а можно даже сказать, медленно выпрямился и встал во весь рост.

Он был огромный. Он стоял метрах в пяти от меня и смотрел мне в глаза. Я не то, чтобы замер, просто все соки перестали течь во мне, в легких не стало звука, да и меня как бы не стало, только глаза продолжали видеть.

Медведь был очень красивый. Огромная голова и лоб, круглые уши, и большой, блестящий кожистый нос. Пасть его была приоткрыта, и я видел нижние зубы. К его мокрым губам прилипли зернышки и чешуйки колосьев овса. Он смотрел мне в глаза своими черными глазами. Темную, длинную шерсть ему как будто расчесали. Лапы висели вдоль туловища, и когтей я не видел из-за высоких колосьев. Но грудь его была могучая, могучая. Солнце светило у меня из-за спины, его глаза и шерсть поблескивали. Он моргнул два раза, выдохнул из себя воздух, и немного пара на секунду появилось у его пасти. Медведь тут же шумно вдохнул и на следующем выдохе опустился обратно в овес и исчез. Только колосья колыхнулись пару раз. Еще через несколько секунд я сам моргнул, довыдохнул воздух из легких, и, не торопясь вдыхать, выронил остатки колоска, который держал в левой руке. Потом очень медленно я повернулся к машине и пошел к ней, не оглядываясь на поле.

Я смог рассказать об этом только минут через двадцать пять, когда мы доехали до места, и меня обвинили, что я какой-то заторможенный, и не хочу помогать располагаться.

Мне никто не поверил, сколько бы я не бил себя руками по коленям и в грудь. Не верили! И не верили даже не потому, что знали, что за мной водится такое, то есть, я могу приукрасить, прихвастнуть и сочинить. Они не верили потому, что все в той нашей компании были сибиряки, всю жизнь прожили в Сибири, и знали, что в Сибири бывает, а чего нет. Они знали то же самое, что знал я.

Никто не поверил мне. А у меня не осталось никаких доказательств. Я только могу еще и еще повторить, что я видел того медведя, и видел совсем близко, хотя и коротко. Свои чувства и то, что я испытал при этом, я не берусь описывать. Ничего определенного я не испытал тогда. Даже испуг пришел потом. А вот доказательств у меня нет.

А что у меня вообще есть? Что у меня есть такого, о чем я мог бы сказать, как о моем, только моем, чего у меня не отнять? И что это такое вообще? Мое жилье? То есть некое жизненное пространство, ограниченное стенами и окнами?

Да, оно мое! Это мое жилье, у меня есть соответствующие документы, которые зарегистрированы, и выданы мне теми органами

и организациями, которые как раз и занимаются оформлением и регистрацией жилья и документов. Да, оно мое, и юридически это зафиксировано. И в этом моем жизненном пространстве все так, как я, в общем-то, хотел. Но как об этом говорить всерьез, как о чем-то неотъемлемо моем? Сейчас мое, а раньше в этих стенах жили другие люди, и все было по-другому. Потом кто-то будет здесь жить вместо меня, как теперь живут в той квартире, которую я так хотел купить, купил, жил в ней, а потом очень хотел продать... там, в родном городе.

Мои деньги? Деньги, которые я заработал? Они тоже неотъемлемо мои? Ну, те деньги, что у меня есть?

Конечно мои! А чьи же?! Но сколько бы у меня их ни было, это же все равно такая странная вещь, которая так давно существует, придумана не мной, и придумана не для меня. А чтобы как-то что-то регулировать, чтобы что-то и как-то функционировало... А те деньги, что лежат у меня в кармане или те, что есть у меня дома, и те, что я кому-то дал в долг, или какие-то другие, притом, что они мои и я их заработал... но мне все равно их кто-то дал. Дал, например, за мою работу. А я их тоже в свою очередь отдам за что-нибудь. Да сколько бы их ни было у меня, я же не ощущаю их чем-то таким моим, на что можно было бы опереться, или тем, о чем можно было бы говорить, как о моем, не вдаваясь в какие-то сложные объяснения, а порой и оправдания.

Мой автомобиль?

Он, разумеется, мой, и я даже его люблю. И как написано в журналах, автомобиль много говорит о своем владельце. Конечно! Автомобилей великое множество, из них есть те, которые я могу себе купить. Их уже гораздо меньше. А из этого сокращенного числа есть те, которые мне нравятся. Их уже просто единицы. Дальше какая-то случайность во время окончательного выбора, и вот у меня есть мой автомобиль. Но мало того, что эту столь важную вещь могут в любой момент угнать, или я сам могу ее разбить ... это понятно. И даже если автомобиль полностью и аккуратно застрахован, он все равно является источником огромного количества беспокойств, забот и тревог. Например, в нем может начать что-то скрипеть или постукивать. Тогда надо ехать к тем людям, с которыми у меня есть шанс встретиться и пообщаться только в связи и по поводу автомобиля. И это общение мне, как правило, не нравится. Совсем не нравится. Эти люди, правда, могу устранить скрип, стук, или посторонний запах, но расслабиться-то уже сложно.

Я буду прислушиваться, принохиваться, и мне все время будет что-то казаться. И вот уже любимый автомобиль становится не любимым. И это только один из примеров беспокойства. А сколько всяких других возможностей для тревоги исходит от автомобиля! Так что, мой автомобиль только на какое-то время совпадает со мной, точнее, мы с ним совпадаем, и тогда он становится моим, а потом мы с ним расстаемся. И при этом всегда оформление каких-то документов, регистрация, учет.

Мои вещи, книги, мебель, посуда? Это мое? Но когда я иду по улице в чужой стране, что у меня есть? Что мне надо? Мой паспорт? Мой телефон?

У моего телефона есть номер. Это мое?!

Записная книжка, где имена мало знакомых и случайных людей соседствуют с теми именами, что мне дороги? Я же знаю: сколько имен в моей книжке, приблизительно столько есть книжек, где записано мое имя.

Мое имя? Что это? Набор звуков, которым называюсь я? Это мое? Но такое же имя носили многие и многие люди много веков в разных странах.

Моя фамилия? Но я как-то привык, что это фамилия моего отца, а отец, наверное, ощущал, что это фамилия деда...

Моя профессия? А что это такое? Я так много раз чувствовал бессмысленность этого занятия, а потом снова любил ее, и чувствовал азарт, а потом ощущал, что в этой профессии я становлюсь некой функцией! Я столько раз ею гордился, и столько раз ее стыдился! И еще я столько раз чувствовал, что не могу от нее освободиться, что я привык, и эта привычка, обстоятельства, а порой и усталость, не дадут мне возможности разобраться в том, что же это такое, моя профессия.

Мои родные люди?! Люди, без которых я не хочу и не мыслю мою жизнь? Люди, которых я люблю?! Они у меня есть? Это мое? Боюсь, что это я у них есть!..... Во всяком случае, я хочу, чтобы это было так.

Моя жизнь?! Моя жизнь во всех смыслах? В смысле некоего состояния, процесса, и занятия, состоящего из дыхания, движения соков, температуры тела, употребления еды и жидкости, а в результате всякие желания, а потом мысли, а потом поступки... То есть, вся моя текущая жизнь! Это мое? Что-то я не могу так сразу и решительно ответить на этот вопрос. Не могу так раз, и заявить, что она принадлежит мне! Потому что тут же возникает вопрос: «А кому это мне?»

И другой вопрос: «А где я ее взял?» И много других вопросов...

Но все то, что я сейчас перечислил, конечно, фактически у меня есть. Хотя, чем больше всего этого у меня, тем больше тревоги, усталости, заботы, и страха это потерять. Потерять деньги, телефон, записную книжку, дом, машину, профессию, имя (некое доброе имя)...

И ужас при мысли, что можно потерять родных людей!

Что у меня есть такого, за что можно не бояться? Нет ничего! Так и подмывает сказать, что у меня нельзя отнять того, что со мной было. Есть то, что рассказывал мне дед. Это все мое, и только мое!

Но что-то не хочется мне делать таких заявлений. Во-первых, это пафосно и излишне драматично звучит, во-вторых, то, что со мной было, потихонечку подворовывает у меня моя же память. А главное, как только я пытаюсь говорить о том, что со мной было, я тут же чувствую серьезные сомнения в том, что об этом можно говорить. Кому это надо? Кому нужны мои подробности? Мне? Да, наверное только мне.

И от того, что я это понимаю, я не назову ни своего имени, ни имени моего деда... ни города, ни реки.

Но я уже попытался говорить и узнал ужасную вещь! Как только что-то скажешь, тут же чувствуешь, как то, что ты не сказал, начинает давить на тебя. Все, что уже не смог сказать, то есть, забыл, или не захотел. Давит все то, что пока не могу сказать, из-за того, что еще не сформулировал, или недодумал, или боюсь... давит сильно. И получается, что лучшее из того, что удастся сказать, говорится о том, что не произнесено.

Что у меня есть? Ничего у меня нету. Но только так хочется научиться испытывать от этого не растерянность и тревогу, которую чувствую я, а легкость, которую, может быть, кто-то испытывал, и не врал, что испытывает.

Нет у меня ничего, и становится все меньше. Я говорил о Сибири и сибиряках, мол, они такие и сякие. Но я смог об этом говорить только потому, что уехал оттуда. Я уже не там! А как только я посмел рассуждать об особенностях сибирского характера, я тут же сам окончательно его лишился, и перестал быть сибиряком. Для того, чтобы сказать то, что я сказал, я сам в себе искал эти

особенности, называл их, и названные, они переставали быть моими. Как незаметно и безвозвратно это произошло.

И хоть для меня всегда будет чудом, что можно жить там, где осенью слышно, как за окном падают на землю большие яблоки, зимой можно ходить в легком пальто и без шапки, а март — это все-таки весна. Для меня это никогда не станет просто обычным, нормальным и незаметным. И где бы я ни находился, я обязательно зачем-то подумаю: «Ой, а ведь в Сибири-то сейчас, наверное, метет». Или когда увижу где-то цветущий куст сирени, скажу местному жителю: «А в наших краях она зацветет только недельки через три».

Но я уже не там. Не там, даже когда редко-редко приезжаю в родные места. Я уже позволил себе рассуждать об этом.

Вот так бы, ненароком, не начать рассуждать об особенностях русской души в целом. (Это я сейчас попытался пошутить.)

Нет у меня ничего. И только кажется, что теплый пепел высыпается между пальцев, и летит, превращаясь в невесомую белую пыль. Посмотришь, а это даже не пепел, не было ничего в руках. Руки сами по себе теплые и беспомощные.

А что мне нужно? Что?

Все-таки, нужна какая-то особенность! Что-то особенное! Мое! Ну, мне надо!!! Хотя я отлично знаю, что чем хуже, захолустнее и безрадостнее город, тем чаще там спрашивают приезжего: «Ну, как вам у нас? А вы попробуйте нашу капустку, у нас ее особенным образом солят. А вот хлеб, такого нигде не сыщите. Грибочки попробуйте. Вода у нас очень чистая.»

И все-таки наша река!... Мне иногда физически хочется ее видеть. Хочется видеть сильнее, чем любимое кино, которое я знаю наизусть, но все равно хочу смотреть, хотя, как уже сказал, знаю и помню все детали. Сильнее, чем важное стихотворение, которое я вообще выучил слово в слово, почему-то хочется иногда прочесть его глазами, чтобы видеть сами буквы.

Таких рек, как наша, нет нигде. Сибирские реки! Быстрые, темные и длинные, с крутыми поворотами, островами, стремнинами. Таких больше нигде нет. И это я говорю не для красного словца, и не потому, что мне так кажется.

Сибирские реки текут на Север. Все! И в этом их беге к холодному Ледовитому океану есть какая-то мощная обреченность, отчаяние и сила, которая чувствуется, даже если ты не знаешь, куда течет

река. Эту силу видно.

Во всем мире все большие реки текут куда-нибудь на юг или как-то параллельно параллелям. Они впадают в теплые океаны, моря и заливы, или не в очень теплые заливы и моря. А сибирские реки текут строго на Север, и неминуемо вливаются в ледяные воды. Они текут туда, где безлюдно, нет деревьев. Туда, где Сибирь перестает быть Сибирью и превращается просто в пространство, о котором холодно даже думать. Где-то там, в этих льдах, вмерзнув в ледяные толщи, навсегда сохранится моя уплывшая от меня шапка. А если какой-нибудь глобальный планетарный процесс растопит эти льды, она оттает вместе с замерзшими с нею рядом мамонтами.

Я хорошо помню мою реку, и я хочу ее видеть, я рвусь к ней, хотя знаю, что если приеду, и буду стоять смотреть на нее, мне будет или холодно, или сыро, или меня что-нибудь отвлечет, озаботит, и не даст сосредоточиться, или будут кусать комары. Я знаю, что опять ничего особенного не почувствую. А она там течет, прямо сейчас.

Течет там, где я испытывал одно новое ощущение за другим, и мог чувствовать все сильно. Так сильно, что теперь все свои сегодняшние ощущения, я могу только сравнивать с теми, которые были там. Там, в моем городе. Там, где я забегал с жаркого летнего двора в любой подъезд, радостно чувствовал прохладу, и мог без разбора позвонить, если дотягивался до звонка, или постучать в любую дверь. Постучать, чтобы попросить малознакомых или совсем незнакомых мне людей дать мне попить воды. Я жадно пил, и бежал обратно...

А когда я забегал в свой подъезд, я заглядывал в круглую дырочку нашего почтового ящика, видел, что там лежит газета... И не чувствуя в этой газете никакого предостережения или намека на совсем другую жизнь, которая будет состоять из того, что тревожит, терзает, и из того, что можно потерять, я бежал вверх по лестнице. Бежал, и, не в силах сдержать радости, кричал: «Деда, газеты принесли!»



www.feedbooks.com
Food for the mind